

*ОЛЬГА БАЛЛА*

*III*



**ОЛЬГА БАЛЛА**

**ПРИМЕЧАНИЯ**

***К НЕНАПИСАННОМУ***

*Статьи*

*Эссе*

Том

**III**



***Franc-Tireur***

USA

Notes to the Unwritten [ III ]  
Примечания к ненаписанному [ III ]  
by Olga Balla

Copyright © 2010 by Olga Balla

All rights reserved.

ISBN 978-0-557-27867-1

Printed in the United States of America

# Содержание

## СТАТЬИ, ЭССЕ

|  |    |
|--|----|
| СИЯНИЕ. НОМО GLAMOURICUS И ЕГО СВОЙСТВА                              | 11 |
| НАША МАЛЕНЬКАЯ ВЕЧНОСТЬ  | 21 |
| ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕЗАЩИЩЁННЫХ   | 29 |
| НЕПОРЯДОК ДИСКУРСА. МИШЕЛЬ ФУКО КАК ФОРМА РУССКОГО САМОПОЗНАНИЯ      | 34 |
| ИЗ ЗАМЕТОК К КРИТИКЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗУМА                      | 48 |
| ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО   | 50 |
| КОНСТРУИРУЮЩИЙ РАЗУМ И УТОПИЯ ЦЕЛЬНОСТИ                              | 52 |
| ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. МЕТРО ЗАДАЁТ СВОИМ ПАССАЖИРАМ МАТРИЦУ СУЩЕСТВОВАНИЯ | 61 |
| НОМО TURISTICUS  | 67 |
| ОРТОПЕДИЯ СМЫСЛА   | 72 |
| ПО БУКВАМ  | 78 |
| РАБОТА РАССТАВАНИЯ   | 84 |
| УРОКИ НЕБЫТИЯ  | 92 |

## НОМО SCRIBENS

|               |     |
|---------------|-----|
| НОМО SCRIBENS | 102 |
|---------------|-----|

## ИСПОДЛОБЬЯ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ВОЛОСКАМИ НА КОЖЕ            | 140 |
| ДОКОНСТРУИРОВАЛИСЬ           | 142 |
| ПОБЕРЕГИСЬ!                  | 144 |
| БОЛЬШАЯ ИЛЛЮЗИЯ              | 146 |
| ВОСПАЛЕНИЕ СМЫСЛА            | 148 |
| ПРИСЛОНЯСЬ К ДВЕРНОМУ КОСЯКУ | 150 |
| ОПЯТЬ ЛОМАЕТ                 | 152 |
| АБСОЛЮТНО ИЗ НИЧЕГО          | 154 |

|  |     |
|--|-----|
| ГЛАЗА БЫ НЕ ГЛЯДЕЛИ                    | 156 |
| ОНА УСКОЛЬЗАЕТ                         | 158 |
| НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ!                        | 160 |
| МИКУКА НА ХИЛЕ                         | 162 |
| КИНО ПОСЛЕ СМЕРТИ                      | 164 |
| ОПРАВДАНИЕ ПОТЕРИ                      | 166 |
| А ОНО КА-А-А-К ВЫРВЕТСЯ!               | 168 |
| ПРАВИЛА НЕПРИЛИЧИЯ                     | 170 |
| ПОХВАЛА НЕАДЕКВАТНОСТИ                 | 173 |
| ПЕНИС КАК ФАЛЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ           | 176 |
| МИНИСТЕРСТВО НЕДОВЕРИЯ                 | 178 |
| НЕ СПАСТИСЬ                            | 180 |
| С КОЛДОВСТВОМ И БЕЗ КОЛДОВСТВА         | 182 |
| РАДИКАЛЬНО ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ           | 184 |
| ДАЛЕКО ЗАВОДИТ РЕЧЬ                    | 186 |
| МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ                 | 188 |
| ИСКУССТВО ЗАБВЕНИЯ                     | 190 |
| ТУТ-ТО НАМ ВСЁ И ОБЪЯСНЯТ              | 193 |
| ГЛАВНОЕ - НЕ ПИШИ                      | 195 |
| ЕЩЕ НАСМОТРИМСЯ                        | 197 |
| ОЩУПЫВАЯ ИНОЕ                          | 199 |
| И НЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧАТЬСЯ                 | 201 |
| СКЛАДЫВАЕМ. ЗАСОВЫВАЕМ. ЗАКАПЫВАЕМ.    | 203 |
| В УСЛОВИЯХ СОБСТВЕННОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ   | 205 |
| ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА                      | 207 |
| ВОТ ТОЛЬКО ЛЮБВИ НЕ НАДО               | 209 |
| ТЕКСТ ОБРЕЧЕННЫЙ                       | 211 |
| В РЕАЛЬНОСТИ И НА САМОМ ДЕЛЕ           | 213 |
| ОДНО СЛОВО - СРЕДНИЕ                   | 215 |
| ВСЕ РАВНО - ПО ЖИВОМУ                  | 217 |
| ФОРМА НОСА И СМЫСЛ ЖИЗНИ               | 219 |
| НИЖЕ УРОВНЯ СМЫСЛА                     | 221 |
| ШАГНУТЬ - И ВСЁ                        | 223 |
| РЕШАЮЩИЙ УДАР                          | 225 |
| СТРАДАЙ И СТАНЕШЬ ЛУЧШЕ                | 227 |
| В ДЕЛО ИДЕТ ВСЁ                        | 229 |
| ИДЕАЛЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ                  | 232 |
| ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ                   | 236 |
| БУНТАРИ ПОНЕВОЛЕ                       | 238 |
| ПОБЕДА НАД ПРОШЛЫМ                     | 240 |
| АНТРОПОЛОГИЯ КАТАСТРОФЫ                | 242 |
| КОЕ-ЧТО О НЕСРАВНИМОМ                  | 244 |
| ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ                      | 246 |
| НЕВЕДОМАЯ СТРАНА И ЕЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ | 248 |
| ДВОЯКОДЫШАЩИЕ                          | 250 |
| НИКТО НИКОГДА НЕ УМРЕТ                 | 252 |

**ПРИМЕЧАНИЯ  
К НЕНАПИСАННОМУ**

**III**



**СТАТЬИ,**

**ЭССЕ**



## СИЯНИЕ<sup>1</sup>

### Номо *glamouricus* и его свойства

#### За пределами словарей: Гламур и грамматика

Самое странное, что знакомым нам обилием значений слово «гламур» обросло исключительно на русской почве – и всего-то за те несколько лет, что входит в состав нашего языка. В западных языках оно существует гораздо дольше, а вот смыслами – не в пример беднее.

Словом «гламур» – а заодно и кое-какими его подтекстами и обертонами – одарили нас англичане. В их языке *glamour* ['glæmə], означающее «чары», «очарование» – прямой потомок слова *grammar* – «грамматика». Слово и возникло в Средние века как вариант к *grammar* («грамматика», «книга»), заимствованного, в свою очередь, из французского *grammaire*. В шотландском произношении слово обзавелось вариантом *glamour*, а с ним и новым смыслом: «колдовство». (Развитие получилось такое: грамматика → сложная книга → книга заклинаний → колдовство, заклинания → чары, очарование. Отсюда же – французское *grimoire* и русское *гримуар* – «книга заклинаний».) В этом значении сэр Вальтер Скотт в начале XIX века и ввёл *glamour* в литературный английский. В Оксфордском университете и сейчас существует должность *professor of glamour* – профессор грамматики.

В нынешнем английском *glamour* – слово довольно объёмное: словарь Вебстера определяет его как «ускользающую, загадочно-волнующую и зачастую иллюзорную привлекательность, которая будоражит воображение и разжигает вкус к необычному, неожиданному, красочному или экзотическому...»

<sup>1</sup> Опубликовано: Знание-Сила. - № 6. - 2008.

Кроме того, *glamour* – «странно-соблазнительная атмосфера романтического волшебства, околдовывающего, непостижимого, неодолимо-магнетического очарования; личное очарование в сочетании с необыкновенной физической и сексуальной привлекательностью.»

В русские толковые словари оно, кажется, до сих пор не попало. Одна лишь Википедия успела на лету зафиксировать отдельные черты русского гламура. Согласно ей, это слово следует относить «прежде всего к моде на одежду и косметику», «а в расширительном употреблении» – ещё и «к стилю жизни», прежде всего – к развлечениям.

«Гламурными» принято считать, – повествует далее Википедия, – «стандарты одежды и жизни», которые рекламируются в так называемых глянцевах журналах, разделяемых притом по половому (виновата, по гендерному) признаку: на «женские» и «мужские». (Вообще, «глянцевая» пресса – настолько неотъемлемая принадлежность гламура, что практически уже его синоним.) «Гламурными, – уточняет Википедия далее, – обычно бывают женщины или VIP-вечеринки.»

Ух, если бы всё было так просто.

«Гламур, – полагают сегодня наши соотечественники, – это целое настроение, дух последнего десятилетия.» Пишут даже, что «гламур как стиль не поддается определению». Что это вообще – «некая аура, под влиянием которой прошли несколько последних лет.» Гламур – это, оказывается, уже сразу всё: начиная с того, «как человек подбирает одежду» – до того, «как он движется». Это даже сама «его личность»: «девушка может быть одинаково «гламурной» как в потертых джинсах, так и в роскошном бальном платье» (так писала К. Миллер в 2004-м – спустя всего семь лет после того, как слово было впервые замечено в русском словоупотреблении, а укоренилось и того позже – в 2001-м). Более того – он и к моде не имеет такого уж обязательного отношения! Как писала та же

К. Миллер, «гламур ...не имеет временных рамок. Неважно, как меняется мода, - гламур остается всегда.»

### **Шик-блеск-красота**

Раз уж гламур прежде всего вызывает в воображении нечто эстетически значимое, – с эстетики и начнём. С первого взгляда кажется, будто тут всё довольно просто. Шик. Блеск. Красота. Драгоценности. Стразы. Меха. Кожа. Золотое, розовое, красное... – кричаще-яркое, сияющее, избыточное, изысканное, а главное, очень-очень дорогое. Но вот в чём штука: это «всё» совершенно не обязано быть именно таким. Оно не обязано быть даже красивым!

«Назвать гламур культурой красивого (принятого) одеяния, – пишет в Живом Журнале одна из самых глубоких сегодняшних толкователей «гламура» Яна Бражникова, – неверно. Во-первых, потому, что гламур бывает и совершенно некрасив и от этого не перестает быть гламурным. Во-вторых, потому, что он не хочет выглядеть "принятым", он позиционирует себя как экстраординарность и бежит от общепринятости.»

Любимое словечко гламура – «уникальность», известная также под именем «эксклюзивности». «Критерии настоящего люкxu, – поясняется в журнале об элитной недвижимости, – безупречное качество, штучность, бесспорно талантливое авторство, невозможность тиражирования». Дом, жить в котором «гламурно», должен быть именно штучным, чуть ли не ручной работы. Он обязан быть прямо-таки исключением среди своего класса предметов (тот самый «эксклюзив»). Иначе у него нет шансов быть проданным за такие большие деньги, за которые ему положено продаваться по определению.

И всё же: что наводит наших современников на мысль, будто гламурным можно быть даже в потёртых, далёких от всякой экстраординарности, джинсах? Видимо, то, что гламур – прежде всего позиция. Во всём остальном она только прояв-

ляется – и может подбирать себе любые проявления. Хоть джинсы, хоть валенки (а что: стразы нашить – будет очень даже гламурненько. На форумах люди в таком духе совершенно всерьёз высказываются).

Гламур – эстетика, немислимая без своей этики.

Как всякая эстетика, он и создаётся, и движется именно этикой: вполне чётким представлением о том, что «надо» делать. Только не спрашивайте, «зачем» надо. Это уже метафизика. Уж ею-то гламур точно не занимается.

### **Аскеза избытка**

В основе гламурного шика-блеска-красоты – очень жёсткое «надо». (Фразы вроде «вы можете себе позволить» оттого и звучат так обнадеживающе, так – вроде бы – освобождающе, что раздаются посреди крайне жёстко регламентированного мира. «Вы этого достойны» звучит как поощрение. Уффф! Наконец-то!..)

Чтобы попасть в «общество избранных», которое создаётся гламуrom как системой ориентиров – иметь много денег вовсе недостаточно (хотя без этого, надо думать, совсем никак). Для входа сюда необходимо ещё пройти жёсткий дресс-код и фейс-контроль: всё должно быть сделано по правилам. И сумасшедшие деньги, которых всё это стоит, надо тратить не как-нибудь, а тоже по правилам. Они тут работают отнюдь не на удовлетворение желаний своих владельцев, как легко подумать, а на поддержание их символической ценности и на постоянное её доказательство: главное, чтобы «все» это видели. Гламур – обязательно жизнь напоказ: он перестаёт быть самим собой, если его не видят.

Доказывать же что бы то ни было тут можно единственным путём: правильным потреблением правильных предметов. И правильным поведением. Надо тусоваться. Посещать «правильные» ночные клубы. Ходить в «правильные» магазины.

Жить в «правильном» месте. Использовать «правильные» техники ухода за телом.

Так называемые развлечения для человека гламурного – труд и обязанность. Труд, потому что ими он выделяет себя, и обязанность, потому что участием в них он подтверждает и воспроизводит свою принадлежность к соответствующему социуму. Одиночество, затворничество – не гламурно.

Правда, это – труд непременно радостный: без драматизма и надрыва. Драматизм и надрыв – совсем не гламурно.

Гламур – особая выделка не только тела, но и (не прежде ли всего?) управляющей им души. (Кстати, массовое сознание это отлично улавливает. Когда на разных интернет-форумах очередной раз возникает дискуссия по волнующему вопросу о том, что такое гламур, непременно кто-нибудь скажет, что это – «состояние души».) В самом деле: гламурный человек «должен» испытывать определённые чувства, «должен» воспринимать жизнь определённым образом: легко и «позитивно». Не обременять себя, не дай Бог, избытком рефлексии. Весь душевный материал, которые не вмещается в рамки этих требований, должен либо не замечаться, либо как-то преодолеваться с помощью специальных техник (тут очень кстати оказывается развитая психотерапевтическая индустрия. Состоятельный человек, в конце концов, «может позволить себе» личного психоаналитика – или психотерапевта другого толка – для душевной коррекции. Тоска, тревога, депрессия – это не гламурно. От этого хорошо лечится шоппингом. И если не помогает – тогда к психотерапевту.

### **Гламур в России больше, чем гламур**

Именно благодаря своему отчётливо-этическому, дисциплинарному смыслу гламуру в нашем отечестве удалось стать тем, чем ему и не снилось быть ни в одном государстве мира. Вы будете смеяться: идеологией. Причём это уже перестало звучать как парадокс и вошло в состав очевидностей.

Поэт Лев Рубинштейн, кажется, первым – в июле 2006 года – назвал гламур «официальной идеологией современного общества». И вот уже совсем недавно главный редактор одного глянцево-гламурного издания всерьёз написал следующее: «гламур консолидировал (российскую. – О.Б.) элиту, стал ее универсальным языком, дресс-кодом и фейс-контролем, ослабив стилистические противоречия между либералами, радикалами, левыми, государственниками и всевозможными неформалами.» «У правящей партии, – признаёт он, – нет своей уникальной идеологии, есть принцип «с нами» или «против нас», а все, что разрешено прочей элите – это наслаждаться тем, что имеешь...» Поэтому «русскому высшему обществу ничего не оставалось, как сделаться прагматичным. Его главной ценностью стала идея успеха, материальным выражением которого является гламурный образ жизни и *luxury*... Нет больше левых и правых, есть виннеры и лузеры, как артикулируют новую реальность люди, близкие к Кремлю. Для высокопоставленных русских *luxury* – свидетельство социальной состоятельности, адекватности, вменяемости, бескомпромиссное заявление о личном успехе.»

Возведённый в идеологическое достоинство гламур может сколько угодно раздражать – и ох как раздражает! И демонстративностью потребления, и циничным насаждением своих потребительских моделей «в нищей стране». И откровенной инфантильностью (хороша жизненная программа: получать удовольствия, да как можно больше!) И искусственностью, если не сказать лживостью: сияющий мир гламура живёт – и предписывает жить – так, будто на свете нет ни горя, ни болезней, ни старости, ни смерти...

Однако факт есть факт: свидетельством личного успеха, личной значимости, личного достоинства стало именно это – показная, безмерная, бесстыдная роскошь и эгоцентризм гламура. И это ничуть не случайно, поскольку в природе вещей. Как во всяком бесстыдстве, в этом тоже есть откровенность, доходящая прямо до простодушия.

## Плоды Просвещения: Гламур как проект человека

Гламур – проект человека, и ещё какой последовательный. Он, как совокупность идеалов и ценностей, очень органично, даже с неизбежностью следует из некоторых вполне коренных установок западной – (пост)христианской – культуры и цивилизации.

Человек гламура – это человек Нового времени, Просвещения и рационализма, доведённый до максимума, до предела. Даже и за предел, – правда, точно теми же – их легко узнать – идеалами, что вели человечество по пути, заданному Просвещением и рационализмом. Это – идеи развития, прогресса, совершенствования земных дел рационально организованными усилиями и без всяких серьёзных апелляций к чему бы то ни было трансцендентному. В полном согласии с ведущими ценностями Нового времени, человек гламура материалистичен и прагматичен, причём типовая для гламура избыточность нисколько этого не отменяет: это такая особая прагматика, со своей логикой.

Мы узнаем здесь и идеи старого, доброго эволюционизма, притом как следует вульгаризованные, чтобы всякому было понятно: представления о естественном (то есть, в природе вещей!) отборе и борьбе видов, в которой выживает наиболее приспособленный. Гламур, по замыслу – вершина, на которой – Самые Лучшие, Самые Сильные. Те, кто Добился.

Человек гламура – «программный», осознанный индивидуалист. Главная его задача – самоутверждение и экспансия. Главное направление всех его движений – вперёд и вверх, к «лучшему», ко всё большим достижениям и удобствам. Он покоряет мир и пользуется им как средством для своих целей. Более того, он (как уверен) сам его создаёт: мир, где всё предназначено исключительно для того, чтобы служить лично ему. Даже деньги, даже безудержное «потребление», в которых трудно не видеть самой сути гламура – тоже всего лишь

инструменты: безграничного самоутверждения homo glamouricus.

Человек гламура всегда прав – и гламурная красота служит для того, чтобы постоянно подтверждать, воплощать собой его торжествующую правоту. (Опять-таки, это совершенно безошибочно улавливает – и уже закрепило в своих стереотипах – обыденное сознание. На форумах, обсуждая гламур и его признаки, так и пишут: «Гламур – это ведь не только одежда! Это отношение к жизни и к себе! Если ты себя чувствуешь красивой, стильной девушкой, которой все подражают, то уже не важно, какой стиль одежды ты носишь. Все дело в самооценке, потому что люди видят нас такими, какими мы видим себя сами.» Именно поэтому можно и в потёртых джинсах.)

Мир получается, однако, настолько «расколдованный» и лишённый тайн (они остаются разве что в отношениях «звёзд» между собой, чтобы громко «раскрываться» на страницах глянцевого журнала), что уже отчаянно хочется хоть чего-нибудь по-настоящему таинственного.

Им и оказывается сам гламур – доступное волшебство (недаром в качестве его имени востребовано слово именно с таким основным значением). И основной акцент здесь надо делать не на первом слове, как опять-таки легко подумать, а на втором.

Доступного у нынешних богатых как раз сколько угодно. Но именно поэтому она, как таковая, сама по себе, перестаёт быть интересной. Надо – чтобы ускользало. Чтобы хоть чуть-чуть да не давалось тем самым рациональным усилиям, которыми – с превеликим напряжением – держится современная цивилизация.

Человек гламура хочет быть очарованным. Причём так, чтобы – как при всякой очарованности – это было не вполне подвластно ему самому: волшебство ведь всегда должно быть, во-

первых, сильнее нас – и, во-вторых – непредсказуемым. Оно всегда должно заставить хоть немного врасплох.

Отсюда и любовь гламура ко всякого рода экстравагантности, единичности, штучности... В своём – предположительно – лишённом тайн мире человек гламура и делает себе из любого подходящего материала – посюстороннее, понятное, хотя бы в теоретическом принципе достижимое, но всё-таки волшебство.

И сама потребность в нём – верное указание на то, что гламур не самодостаточен.

### **Попытка бессмертия**

Человек гламура – мечтатель, утопист. Правда, такой, который в принципе не собирается брать на себя труд выяснять, есть ли что-то вообще за пределами освоенного им мира.

Не отсюда ли – и одно из ключевых слов гламура: «совершенство»? Оно же – «безупречность». Совершенство – это то, лучше чего уже нельзя, дальше чего – просто некуда. В иных картинах мира разве что один Бог обладал этим качеством. В мире гламура человек запросто присваивает себе «божественные» качества. (Кстати, спроста ли именно это слово во всех своих вариантах так употребимо в качестве эпитета при описании разных гламурных персонажей? – «божественный», «богиня»...) – Сведение самого неба на землю, в полное и безраздельное её пользование.

Человек гламура вечно молод (кто-то, помнится, зло язвил: красавицам в журнале *Glamoir* вечно 25 лет. Если, не приведи Господь, кому-то из них вдруг исполнится 26 – её тут же выселяют из этого сияющего рая. Куда? – В журнал *Vogue*, должно быть...). Он вечно здоров (а если вдруг нет, всегда найдутся чудодейственные средства, чтобы быстро и безболезненно поправить это досадное отклонение от естественно-го хода дел). И, разумеется, он никогда не умирает.

В числе важнейших идеалов гламура – чистота и неразрушимость.

Гламур – попытка бессмертия.

Совершенно всерьёз – и независимо от того, насколько адекватные средства при этом используются. (Но каково представление о цели, таковы, что поделаться, и средства.)

Ведь свой ближайший, повседневный мир «общество потребления» стремится устроить максимально удобным для себя образом. Но именно в таких условиях и становится непонятным: почему разные, любые потребности можно (и должно) удовлетворять так легко, а самую главную – никак? Почему нельзя поставить себе на службу ещё и вечность?.. А не поддаётся – так хотя бы сделаем вид, что мы уже там.

Настойчивую потребность в этом всецело материалистичного и прагматичного *homo glamouricus* так и хочется назвать «синдромом метафизической недостаточности». Тесно человеку в том мире, который он сам для себя создал. Не от тесноты ли – и навязчивый избыток, дурная его бесконечность: не попытка ли вырваться?

## НАША МАЛЕНЬКАЯ ВЕЧНОСТЬ<sup>2</sup>

### Обломки Нью-Йорка в небесной пыли

Когда «попсу» крутят в магазинах или в маршрутках – это уже давно не удивляет. Даже не раздражает: ну крутят и крутят, можно не замечать, как всякий фон. Правда, как-то раз одна моя знакомая – не совсем юная, ничуть не наивная, и более того – интеллектуалка, которая вообще-то занимается по преимуществу тем, что читает и пишет сложные тексты – взяла да и призналась: «Когда я влюбляюсь, я только попсу и слушаю». Тут-то я, помнится, и задумалась.

Скептически фыркать, конечно, можно сколько угодно. Но ведь люди что-то в этом находят. Что-то такое, чего «высокая» культура им не даёт – или даёт не так.

Первое, что приходит в голову – это то, что так называемая попса – попытка жить вне и помимо истории. В мире ценностей неоспоримых и вечных, ибо – универсальных.

В число этих последних явно не входит, например, Большая История.

В советское время, кстати, входила. Эстрада семидесятых-восьмидесятых ещё пыталась приобщить потребителя к Большим Историческим Ценностям – воспевая, скажем, Родину или радость труда. Нынешняя уже избавилась от этой, глубоко чуждой жанру, заботы. Во все времена она воспекает одно и то же, причём более-менее в одних и тех же выражениях: и пятнадцать лет назад, и десять, и сию минуту, если включить какое-нибудь «Русское радио». Или «Радио Попса». Оказывается, есть и такое. Видимо, на других каналах попсы недостаточно.

<sup>2</sup> Опубликовано: Знание-Сила. - 2008. - № 9.

Нет, кое-какие исторические веяния, безусловно, задевают «попсу» своим крылом. Ничто так не чуждо «попсе», как высоколобая самоизоляция. Напротив – она восприимчива решительно ко всему, что её окружает. На свой лад, конечно.

На историческую обстановку «попса» честно пыталась реагировать в девяностые. В самом деле: надо же было как-то адаптировать человека к смене декораций. Стало возможно публично упоминать о проституции – немедленно зазвучала песня о драматической судьбе человека, влюблённого в «ночную бабочку» («*Путана, путана, путана / Ночная бабочка! / Ну кто же виноват?!*» – восклицал Олег Газманов). Вошёл в моду образ сказочно-прекрасной дореволюционной России, которую мы потеряли – и Белый Орёл уже перечислял, как свои личные утраты: «*Балы, красавицы, лакеи, юнкера / И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...*». Даже массовое – после общеобязательного материализма – увлечение представлениями о переселении душ и множестве их жизней и то отразилось в популярных песнях: «*Я к тебе пришла из прошлой жизни, – пела Любовь Успенская, – В этой мне с тобою жизни нет*».

Скажу сразу, что эдакая публицистика «попсе» надоела довольно быстро. Сегодня она может петь о Большой Истории разве что с горькой иронией: «*Летят самолеты, плывут корабли. / Обломки Нью-Йорка в небесной пыли. <...> / А в чистом поле - система "ГРАД". / За нами Путин и Сталинград. / Soldaten, feuer! Spazieren "GRAD". / Wir lieben Putin und Stalingrad.*» (Белый Орёл). «*Я не помню Ленина живьем, / Я его застал уже холодным. / Говорят, был дерзким пацаном, / Поимел державу принародно...*» (Трофим).

Теперь «попса» скорее защищает человека от Большой Истории – иронией, снижением, неупоминанием её вообще. Она – о вечном.

## Мир маленького

Может показаться – и даже не без оснований, – будто «попса» – мир самых маленьких смыслов из всех возможных. Она занята исключительно частной жизнью частного человека – в том его виде, какой может случиться внутри любой общности. Она их культивирует, воспевает, оберегает.

*«И каждый вечер он без денег немного, / Он простой студент...»* (Иванушки International). *«Создаю тебе уют и дарю любовь свою. / Кто бы мог подумать, как приятно быть женой! / Женское счастье - был бы милый рядом, / Ну, а больше ничего не надо.»* (Татьяна Овсиенко).

Законным предметом лирической нежности тут могут стать даже гастрономические радости:

*«А впереди у нас три дня и три ночи, / И шашлычок под коньячок - вкусно очень...»* (Трофим).

Из всех ипостасей Родины «попсе» милее всего родина малая, уютная, безусловно добрая и – для пушного чувства её ценности – непременно покинутая:

*«Ах, как хочется вернуться, / Ах, как хочется ворваться в городок, / На нашу улицу в три дома, / Где всё просто и знакомо, / На денёк...»* (Анжелика Варум).

И, конечно, её, покинутую, можно всласть, до дрожи и слёз, идеализировать – чем «попса» и занимается:

*«Где без спроса ходят в гости, / Где нет зависти и злости, / Милый дом!...»* (Анжелика Варум).

Если какая-то общность «попсу» и волнует – то лишь небольшая общность частных людей, связанных частными смыслами. Прежде и типичнее всего, это – любовь, заговор двоих против всего света.

*«Одни мы в мире, я и ты, / В руке твоей моя рука...»* (Мираж).

*«И будет только нам двоим заметно, / Что мир как будто стал необитаем...»* (Жасмин).

Но это совсем не обязательно. Главное – чтобы было чувство драгоценного «своего», тайный и упрямый заговор против всего обязательного, навязанного, официального. Это чувствовала уже «попса» поздней советской осени – восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой... – когда сквозь облетающие ветки светило нам иное небо:

*«Музыка нас связала, / Тайною нашей стала, / Всем уговорам твержу я в ответ: / Нас не разлучат, нет...»* (Мираж).

### **Звёзды нас ждут сегодня**

Да, группа «Мираж», звуковой фон юности. Как не помнить. В голосе их солистки, Маргариты Суханкиной, было что-то трагическое, надрывное, раненое. Задевало даже меня, категоричного сноба-книжника: всему надрывному и раненому верилось с полоборота. И при чём тут качество слов?!

*«Наступает ночь / И обещает / Все исполнить для меня / Знаю я теперь, / Что Ночь сильнее Дня»,* - пел «Мираж» в поздние восьмидесятые, и по нашим юным хребтам пробегал, однако, холодок соприкосновения с космическими, мирообразующими силами.

*«Спорят День и Ночь / Но мы сумеем им помочь...»*

Как не суметь! Ведь спорят они о нас. Человек – главная, да, по сути, и единственная забота всего мироздания.

*«Даже осенний гром был в тебя влюблен, / Желаний не тая...»* (Вячеслав Быков).

Человек здесь – маленький волшебник. Да такой ли уж маленький, если всё, что ни происходит в мире, имеет лично к нему – прямое отношение?

*«Бледный бармен с дрожащей рукой, / Дыма табачного плены / И та, что согласна ехать со мной, / Тоже является частью вселенной...»* (Иванушки International).

Его повседневность (а только в повседневности он и живёт) – чудесна. Он в некотором смысле всемогущ.

*«В небесах ты свободна кружиться / Выше солнца и звезд выше...»* (Андрей Губин). *«Горы разведу руками, / Трижды землю обойду...»* (Валерий Меладзе). *«Позови меня с собой! / Я пройду сквозь злые ночи, / Я отправлюсь за тобой, / Что бы путь мне ни пророчил...»* (Татьяна Снежина / Алла Пугачёва).

Всё, что происходит с «маленьким», «частным» человеком – в «попсе» становится событием космического масштаба. Мир чутко отзывается на все его состояния:

*«Есть на любовь печальный ответ, / Когда одному она не нужна, / Когда одному она не нужна, / И этот ответ звучит коротко: “Нет”. / И сразу тучи небо закрывают, / И дождь холодный сыплется из них...»* (Александр Буйнов).

Другие люди – если они, конечно, не входят в круг «своих», заведомо не слишком широкий – человеку в основном чужды, если не враждебны:

*«Прспект осенний набит был людьми, / И было всем не до нашей любви, / И в океане раскрытых зонтов / Ты исчезла из вида...»* (Филипп Киркоров).

А миру как раз есть дело до нас. Он разговаривает с человеком всеми своими языками: светом, цветом, погодой, деревьями – да всё об одном, об одном:

*«Скажи ты мне, речка, / Скажи мне, рябина, / За что я его полюбила?»* (Татьяна Овсиенко)

Мир о человеке беспокоится. Заботится о нём:

*«Лето прошло – меня одуматься просит / Тёплая осень»* (Жасмин).

Поэтому, выбирая между обществом с его условностями и Большим Миром, человек, конечно же, выберет Мир.

*«Мир, поверь, прекраснее, чем сон. / Оставить стоит старый дом, / Что был твоим так много лет... Звёзды нас ждут сегодня. / Видишь их яркий свет?» (Мираж).*

И пусть люди потом локти кусают:

*«Люди проснутся завтра, / А нас уже нет...» (Мираж)*

Уйду я от вас. А вы поплачете.

*«А я сяду в кабриолет / И уеду куда-нибудь, / Если вспомнишь – меня забудь, / А вернёшься – меня здесь нет...» (Любовь Успенская)*

Сладко-освобождающий детский жест ухода. «Попса» возвращает человеку детство – и детскую неизменность мира. То есть – вечность.

### **Тебе я нужен именно такой**

Говорю же, она вся – о вечности, даже когда о пустяках. Причём о вечности, пережитой лично. И только поэтому – о любви, самой типовой, самой заболтанной «попсовой» теме.

Дело даже не в том, что любовь «всех касается» и «всех волнует». Любовь – даже безответная и несчастная – спасает человека от бессмыслия. Об этом, конечно, и «высокая» культура догадывается. Но «высокая» культура требует от человека усилий. «Попса» не требует ничего. Ну разве что простого внимания.

*«<...> без / тебя, моего / единственного / путеводителя, / моё прошлое / Кажется пустым, / как небо без Бога...» (ВиаГра).*

Собственно, других форм вечности для «попсы» и не бывает. Зато эта – самая-самая надёжная. *«Все приходит из ниоткуда / И скрывается в никуда, / Но единственное чудо – / То, что ты со мною всегда. / Я забуду, что было в моде, / И не*

*вспомню ни снег, ни зной, / Пусть все мимо, пусть проходит,  
/ Если ты до конца со мной.»* (Александр Маршал).

В любовь прячутся – как в надёжный дом.

*«Он играет на гитаре, / И не грустно им вдвоём, / Осень их не испугает / сереньким дождём.»* (Татьяна Овсиенко).  
*«Никому уже на свете я не верю, / Только ты одна сумеешь мне помочь...»* (Белый Орёл).

Любовь в «попсе» делает человека безусловно-ценным, автоматически-значительным. Она принимает и оправдывает его таким, каким застала. Во всех его подробностях и странностях. Как и детство.

*«Я такой-сякой, может, права ты, / Только кто вернет мне мой покой? / Зря считаешь ты, что других я хуже, / И тебе, поверь, я нужен именно такой. / Нужен, нужен, нужен, нужен я такой-сякой.»* (Филипп Киркоров).

Попса – она добрая, даже когда злая. Она человека прощает.

И ещё она сообщает ему, что устои мира – неизменны.

### **Культура и Натура**

Тексты высокого качества здесь не нужны по определению. Тексты нетривиальные – то есть такие, которые, не приведя Господь, затрудняли бы восприятие, требовали бы усилий, по крайней мере – создавали бы некоторое напряжение – не нужны тем более. Тут не должно быть дистанции между человеком и текстом – вообще никакой. «Попса» должна быть голосом самого естества. Которое, как известно, ни в какой рефлексии не нуждается.

Для этого как раз нужны банальные рифмы, ходячие сравнения, стёртые от бесконечного употребления образы.

*«Пускай в глазах любви погас волшебный свет / И тёплых рук твоих со мной сегодня нет, / Пусть водопад горячих слёз смешался с горечью в вине, / Но до сих пор твоя душа живёт во мне / Она цветёт с букетом роз, пускай на улице*

мороз, / Она в тепле блестит узором на стекле.» (Божья Коровка).

Ужасно, да? А кто, собственно, сказал, что это должно быть литературой?

Здесь даже косноязычие необходимо. Во всяком случае – к месту. «Лето нам дарит в подарок / Много дней и ночей...» (Татьяна Овсиенко). Так ближе: как домашний халат, как стоптанные тапочки. Как скомканная записка самому себе, сочинённая наспех да так и забытая в ящике стола. С этим можно обращаться по-свойски.

«Попса», конечно, нарочно заведена для того, чтобы вызывать к себе высокомерное отношение сколько-нибудь думающих людей. Чтобы раздражать. Чтобы от неё отталкивались. Преодолевали её. И – вытесняли в её обширную, безграничную область всё, что считать культурой не хочется или не получается. Уже – или ещё?

У любой культуры непременно должен быть нижний уровень – область корней, уходящих в почву.

«Попса» – это где-то в переходных пластах между Культурой и Натурой. Натура посылает туда свои сырые и грубые импульсы для первичной – чтобы хоть как-то можно было с ними обращаться – культурной обработки. Культура сбрасывает туда же свой отработанный, изъезженный материал, шлак, шестерёнки с давно стесавшимися зубчиками – чтобы переплавлялись обратно в природу, вращались в естество. «Попса» – это физиология.

Это – желудок культуры, её кишки, печень, нервные окончания, шероховатости, бороздки и волоски на коже, органы выделения, наконец.

Но попробуйте-ка представить себе мозг без всего этого.

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕЗАЩИЩЁННЫХ<sup>3</sup>

Если бы наш мегаполис посетили инопланетяне, у них, подозреваю, могли бы найтись некоторые основания принять огромные рекламные плакаты, щиты и прочие билборды за самостоятельные сущности. Слишком по-хозяйски они ведут себя в городском пространстве – гораздо увереннее, чем многие другие его элементы. Они живут собственной жизнью – и диктуют пространству собственную, совершенно неисследимую логику.

«Арбуз?... Мята?...» – размышляет вслух надпись, растянутая над улицей, о сущности жвачки. «Счастье есть!» – доверительно сообщает надпись на тумбе и сразу же вздыхает: «К сожалению, оно доступно только зарегистрированным пользователям». «НЕВСКОЕ!» – трубит третья, имея в виду пиво. А четвёртая, во весь забор – снизу доверху – сообщает нечто и вовсе несуразное: «The тёлки». Какой связный текст образуют эти сообщения – интересная задача для инопланетного гостя.

И всё это огромными буквами, которые не говорят – орут, вопиют, взывают, настаивают, требуют, заискивают, будоражат. Хорошо ещё, что в основном беззвучно. И всё это не приводит реципиента в замешательство единственно потому, что он не инопланетянин и уверен, что происходящее в порядке вещей.

Если уж человека угораздило выйти на улицу, он может расстаться со всякой надеждой остаться наедине с самим собой. Даже в маршрутке, с одной стороны, поёт в уши радио, где ведущие затыкают паузы между песнями – ммм... вдохновенной импровизацией, а с другой – перед глазами висит экран, на

<sup>3</sup> Опубликовано: Знание-Сила. - 2008. - № 11.

котором рекламируется что-то, не имеющее к тебе ни малейшего отношения. Ни в какую цельность всё это и не думает складываться, не затем существует. Существует оно, кажется, с единственной целью: постоянно, каждую минуту, доискиваться твоего внимания. Пусть не сознательного, неважно. Важно, чтобы хоть как-то было замечено.

Улица окликает тебя, одёргивает, лезет тебе в глаза, в воображение, в область сокровенных желаний и страхов, давит на совесть. Ладно бы ещё пиво со жвачкой и тёлками – на это вполне можно не обращать внимания, особенно когда ни то, ни другое, ни третье тебя не волнует. Бывает кое-что и посерьёзнее. «Вы боитесь одиночества?» – спрашивает в лоб громадный плакат. И отвечает от имени детей-сирот: «Мы тоже.» И хватает за душу – деться некуда: «Вы можете им помочь прямо сейчас».

Но даже если отвлечься от содержательной стороны всего, что нам сообщается – не понимать, допустим, языка – то остаётся ещё сторона формальная. От неё деться действительно некуда, даже если мы не понимаем ничего вообще: она действует сугобо физиологически. Минуя душу, она адресуется напрямую к телу. Крупные формы, прямые линии, жёсткие углы, яркие – до нереальности – краски меняют телесные состояния человека, определяют его реакции ещё до того, как он успеет что бы то ни было подумать по этому поводу.

Наука видеоэкология вот уже почти двадцать лет (с 1989-го, между прочим, года) не устаёт напоминать, насколько всё названное противно естеству. Природа, говорят видеоэкологи, любит плавные, округлые линии, мягкое гармоничное разнообразие – а эдакая агрессивная видеосреда ни к чему, кроме болезней – нервных, психических и вполне себе даже физических (близорукости, например) – привести по определению не способна. Кстати, криминогенную обстановку она тоже, говорят, обостряет. За преступность в спальных районах больших городов именно их монотонная прямоугольность, как предпо-

лагается, несёт изрядную часть ответственности. Звереет человек от прямоугольности.

Да, конечно, само появление видеоэкологии (и сестры её – аудиоэкологии) как типа рефлексии – симптом того, что среда обитания для нынешнего человека, в норме вообще-то, подобно дыханию, не слишком замечаемая – стала ощущаться как отчётливо некомфортная.

Однако ж эта самая среда – полная грубых, дисгармоничных зрительных и звуковых раздражителей – воспроизводится с таким упорством, с таким постоянством, что это само по себе наводит и ещё на одну мысль: человеку это зачем-то надо. И вряд ли только затем, чтобы создатели рекламы зарабатывали таким образом деньги. Самое интересное начинается, если задуматься, почему они зарабатывают эти самые деньги, производя продукт именно с такими характеристиками. Почему именно такой продукт массово и повсеместно – буквально на каждом углу – востребован.

Если бы всё сводилось только к дискомфорту, если бы воздействие такой какофоничной и – правы видеоэкологи – отчётливо агрессивной среды было исключительно разрушающим и больше ничего – рано или поздно включились бы какие-то достаточно действенные защитные механизмы самой цивилизации, которая ведь всё-таки продолжение и проекция нашего собственного тела с его характеристиками, – о душе уж и не говорю. Рано или поздно (причём скорее рано) культура с цивилизацией попросту выпихнули бы весь этот видеосум и аудиосумбур на свою далёкую периферию. Однако подобного не только не происходит, а даже напротив: всё названное помещается как раз в самом её центре. По крайней мере – в географическом.

Насколько всё это изнашивает и разрушает человека – отдельный вопрос, и ответ на него, в общем-то, очевиден. Конечно, изнашивает, конечно, разрушает. Но, видимо, есть не-

что более важное, за что человеку – по крайней мере сейчас – не жаль заплатить такую цену.

Что оно такое – сразу и не скажешь, но предположить, конечно, можно.

Очень похоже на то, что нынешний человек испытывает стойкую потребность в агрессивном воздействии на себя, в том, что буквально на каждом шагу взламывает его пределы и защитные оболочки. Впору даже говорить о своего рода зависимости от такого воздействия. Более того: человек «цивилизации комфорта», скорее всего, не отдавая себе в этом сознательного отчёта (да мало ли в чём мы его себе, в конце концов, не отдаём!) – нуждается в постоянно воспроизводимом чувстве незащищённости. Оно, конечно, и без того есть – но одно дело, когда оно есть само по себе и застаёт нас врасплох, и совсем другое – когда подтверждается добровольно.

Мы – цивилизация незащищённых. Мир людей без кожи (отсюда – и навязчивое стремление к комфорту, и вызывающая типовые упреки типовая же бесчувственность человека современных обществ: бесчувственность – характерный побочный эффект обострённой чувствительности).

Так вот: мы создаём себе такую среду, чтобы учиться защищаться.

Человек современных западных обществ формирует среду своего обитания – и визуальную, и звуковую в том числе – как раз под себя. То есть, поступает в точности так же, как во всех цивилизациях с начала мира. Только на сей раз это – среда, не гармонизирующая, не успокаивающая, но выводящая из оцепенения, задающая созерцателю жёсткую динамику, приучающая к необходимости реагировать – и быстро – на неожиданное, на то, что не укладывается в заготовленную заранее логику. Далёкая от всякой гармонии визуальная среда (в этом смысле всё равно – скудная или агрессивно-избыточная), какофоничное аудиопространство – постоянный тренинг для современного человека. Выводя, выбивая

его из формы – она заставляет его эту форму воспроизводить: держит его в ней. Человек сегодня создаёт себе такое окружение, чтобы то, в свою очередь, создавало, дрессировало его: делало его таким, каким он должен быть, чтобы соответствовать постиндустриальному обществу с его цивилизацией – чтобы он попросту мог здесь выжить. Круг несколько замкнутый, несколько порочный, но, вероятно, ничего не поделаешь.

Современный человек испытывает себя дисгармонией: на прочность, на цельность – на способность к самостоятельной выработке смысла, наконец – как раз для этого заведена бессмыслица. Вы спросите, выдерживает ли он это испытание? Но этот вопрос так устроен, чтобы постоянно оставаться открытым.

## НЕПОРЯДОК ДИСКУРСА<sup>4</sup>

### Мишель Фуко как форма русского самопознания

До 1977 года никакого Мишеля Фуко для отечественных читателей не существовало. Первыми – спустя всего одиннадцать лет после французского издания (по тогдашним меркам – вполне себе оперативно) – на русском языке, в переводе Виктора Визгина и Натальи Автономовой и под грифом «Для научных библиотек», появились «Слова и вещи: Археология наук о человеке». Или, как перевели Автономова и Визгин – да с тех пор так и закрепилось: «Археология гуманитарных наук».

Среди всех текстов, написанных и наговоренных Фуко к тому времени, эта книга была хотя и не самой главной – главной, пожалуй, стоит признать всё-таки «Археологию знания», вышедшую тремя годами позже «Слов и вещей», – но, похоже, самой громкой. Это она, изданная в 1966 году парижским «Галлимаром», немедленно превратила своего автора в фигуру столь же скандальную, сколь и харизматичную: шок среди тогдашних французских интеллектуалов она вызвала уже хотя бы потому, что по самой структуре мысли, по типу работы с материалом, не говоря о выводах – не оказалась похожей ни на что ожидаемое. Ни «Душевной болезни и личности», которую молодой автор издал ещё в 1954-м, ни «Душевной болезни и психологии» 1962-го, ни даже вышедшему в 1963-м «Рождению клиники: Археология врачебного взгляда» – «осмыслению конструирования медицинского опыта в истории культуры», книге уже чрезвычайно своеобразной – подобного впечатления произвести не удалось. «Рождение клиники» и вообще прошло почти незамеченным.

<sup>4</sup> Опубликовано в сокращённом виде: Частный Корреспондент. - Вторник, 6 января 2009 года, 10.00. = <http://www.chaskor.ru/p.php?id=2093>

А тут... Уже 29 мая 1966 г. в первой восторженной рецензии на «Слова и вещи» в парижской «L'Express» появление этой книги провозглашалось «величайшей революцией со времен экзистенциализма». Вслед за тем развернулись бурные дискуссии: и не только в специальных философских изданиях, что было бы естественно, но и в широкой прессе. Фуко тут же превратился в публичную персону, стал во множестве давать интервью и выступать перед разными аудиториями. В том же 1966-м его имя было самым цитируемым в студенческих работах, соперничая разве что с именем Альтюссера, а книга заняла прочное место в списке бестселлеров, что с философской литературой вообще случается крайне редко (значит – читали не как философскую литературу). Спустя три года, в 1969-м, философ Жан Валь представляя её автору собранию Французского философского общества в Коллеж де Франс, говорил, что его даже и представлять излишне: «Это "настоящий" Мишель Фуко – Фуко “Слов и вещей”, Фуко диссертации “О безумии”». «Настоящий» Фуко в тот день собирался читать перед почтенной публикой лекцию «Что такое автор?», которой предстояло стать по меньшей мере столь же знаковой.

Диссертация «О безумии» – это то, что в конце концов, по некоторой переработке, стало «Историей безумия в классическую эпоху». Её, изданную книгой ещё в 1961-м году, русский читатель увидит только в 1997-м. Но – всё по порядку.

К 1977-му году давно уже была написана не только «Археология знания», в которой автор подвёл итоги своему «археологическому» периоду (1969). Успела выйти и книга «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» (1975). Автор их успел прочитать в Коллеж де Франс три нашумевших лекционных курса: «Психиатрическая власть» (1973-1974), «Ненормальные» (1974-1975) и «Нужно защищать общество» (1975-1976), – ни один из них тоже не укладывался ни в какие дисциплинарные рамки, активно вторгаясь притом на территорию всех наук об обществе и человеке. Вышел даже первый том «Истории сексуальности» - «Воля к знанию» (1976), в которой у Фу-

ко и проблемы, и инструментарий для их решения, и сама терминология были уже совсем не те, что за десять лет до этого.

Похоже, «Слова и вещи» были выбраны для представления Фуко русскому читателю благодаря не столько своей репрезентативности, сколько чрезвычайной и шумной известности в родном культурном кругу. И оказались обречены на «знаковость», поскольку на протяжении следующих четырнадцати лет экстравагантный француз не занимал советских издательств. Всё это время «Археология гуманитарных наук» задавала и создавала образ Фуко в глазах тех, кто вообще интересовался этим предметом.

Это отсюда – та самая процитированная, может быть, наиболее известная из всего Фуко фраза, которую ещё в 1997 году Зинаида Сокулер, в предисловии к русскому изданию «Истории безумия», называла «загадочной»: «...человек исчезнет, как исчезает лицо на прибрежном песке».

«Исчезновение» ему обещалось, разумеется, как теоретическому конструкту, но впечатление всё равно произвело.

Перевод и выбор терминологии, как известно, направляет понимание переведённого текста в определённое русло. Так произошло и на сей раз, когда Автономова и Визгин назвали *les sciences humaines* «гуманитарными науками».

Говоря о гуманитарных науках, пишет саратовский философ и историк науки Дмитрий Михель, носитель русскоязычной традиции представляет себе прежде всего историю и филологию. Однако книга Фуко – прежде всего об истоках психологии и социологии, которые более корректно называть «науками о человеке». Так, собственно, сделали англичане, издав книгу (1970) под названием «The Order of Things: An Archeology of Human Sciences» – «Порядок вещей: Археология наук о человеке».

(Как ни смешно, этот неточный перевод заголовка даже более точен, чем его авторское звучание в оригинале: речь ведь действительно идёт об истоках порядка вещей – о его существенной зависимости от порядка слов.)

По словам того же Михеля, именно благодаря Наталье Автономовой, одной из переводчиков «Слов и вещей» и «главному интерпретатору» Фуко в СССР в 1970-80-е годы, сложилась традиция выделять в его творчестве три знаменитых этапа: «археологический», когда главным его занятием было «откапывание» скрытых пластов-эпистем в развитии разных дисциплин, «генеалогии власти», связанный с прояснением вопросов политики и технологий управления, и, наконец, – «эстетики существования», когда предметом интереса Фуко стала история субъекта и сопутствующие ей практики. То есть да, приоритеты и понимание предмета своих занятий у Фуко действительно менялись, но была некоторая цельность, общность внутренних движений, в пределах которой всё это происходило и которая вполне поддаётся обозрению и даже анализу.

Вот чего точно не будет в русских изданиях и переводах Фуко в следующие десятилетия, так это цельности.

Следующим текстом Фуко, явленным русской аудитории, стала «Герменевтика субъекта» – выдержки из лекций в Коллеж де Франс 1981-1982 года в переводе И. Звонарёвой, вышедшие в первом (кажется, и единственном) выпуске прогрессовского сборника «Социо-Логос: Социология, антропология, метафизика», в разделе «На пути к Логосу». (Двигался ли Фуко к Логосу – отдельный вопрос, но, стало быть, так его тогда воспринимали.) Это случилось ещё при советской власти, но уже на самом её закате – в 1991 году. То было как раз время активного, торопливого, не слишком систематического просветительства: знакомства всё более широкой аудитории с неведомыми ей западными интеллектуальными явлениями. Почему именно эти 27 страниц были выбраны из всего многообразного наследия автора для продолжения введения его в

русский контекст – не спрашивайте. Ответа взять неоткуда. С этой публикации начинаются те самые проблемы, которые будут преследовать Фуко почти на каждом его следующем шаге к русскому читателю – здесь нет никакого предисловия, где выполнялась бы элементарная работа по этому самому введению в контекст. Есть только небольшое подстрочное примечание от редакции сборника, где об авторе сказано лишь то, что он «классик современной философии», потом немного об обстоятельствах возникновения текста и его особенностях (типа повторов, обрывов и тезисного изложения) – и дальше уже о работе над переводом. Полное издание почти 700-страничной «Герменевтики субъекта» случится только в 2007 году в петербургском издательстве «Наука».

Между тем возможности привязки к контексту и извлечения актуальных смыслов как раз в случае этого текста были прекрасные. То, о чём там речь, можно было замечательно привязать к текущим экзистенциальным задачам почти-уже-постсоветского человека: там говорится о выработке свободы, о самосоздании человека. О том, как субъект, вместо того, чтобы изглаживаться, как лицо на приморском песке (субъект, правда, древнегреческий, но понятно, что он – лишь частный случай) культивирует, оформляет себя посредством созданных культурой для этого «техник» – в гораздо большей, оказывается, степени, чем это проделывают с ним техники господства или знания. Грамотная, терпеливая «практика свободы» учреждающим самого себя субъектом – как раз то, что нам тогда было нужно. Вполне возможно, что издатели это даже чувствовали. Только вот сказано об этом не было.

Через два года в «Вопросах философии» (№5, 1993) появился ещё один текст Фуко – «Жизнь: опыт и наука» – небольшой, всего десять страниц, к тому же в жанре комментария к чужому: предисловие 1977 года для американскому изданию книги французского историка науки Жоржа Кангийема (Кангилема) «Нормальное и патологическое». Без предисловия в таком основательном журнале было никак не обойтись, и оно

там есть – тоже совсем маленькое, на треть страницы, написанное переводчицей текста Светланой Табачниковой. Она представляет текст как репрезентативный: такой, в котором отразились ведущие темы почти ещё не известного русским читателям «известного французского философа» – темы «жизни и понятия», «жизни и познания жизни», «разума и безумия», «нормы и отклонения», «нормализации и разоблачения анонимных норм», имеющие «не только отвлечённо-мыслительное, но и конкретно-жизненное» значение.

Интересно, в какой степени случайно, что леворадикальные политические симпатии Фуко оказались в то время вовсе обойдены издателями и комментаторами? Мне почему-то хочется думать, что совсем не случайно. Его интеллектуальные конструкции как бы изымались из породивших их контекстов и готовы были стать инструментами для оформления здешних смыслов. Это – нормальная судьба интеллектуальных конструкций. Нам действительно нужны были тогда инструменты для самоосмысления. А с инструментами этого рода в начале девяностых было очень плохо.

На следующий год питерское издательство «А-сад» переиздаст «Слова и вещи» (тот же, классический перевод Визгина и Автономовой). В том же году в малотиражном журнале «Вопросы методологии» (1994, № 3-4) выйдет «Забота об истине» – беседа, которую провёл с Фуко его коллега Франсуа Эвальд в апреле 1984 года, за несколько месяцев до его смерти. Тогда же в «Кентавре» (1994, № 2) – выступление на круглом столе «Ницше, Фрейд, Маркс» 1967 года – в переводе Егора Городецкого с небольшим, но содержательным введением Светланы Табачниковой, где она (опять же минуя всякую леворадикальность как вещь, видимо, глубоко вторичную) пишет, что Фуко и сегодня «учит мыслить» и важен «прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда

на нее, нового поворота мысли». И, наконец, в сборнике «Танатография эроса» (СПб.: Мифрил, 1994), в переводе Сергея Фокина – работа «О трансгрессии»: размышления о смыслах сексуальности у ещё менее, чем Фуко, известного в те поры русской аудитории Жоржа Батая.

Ещё год спустя «Вопросы методологии» (1995, № 1-2) опубликуют в переводе Е. Никулина «Что такое Просвещение» – текст, написанный Фуко в свой последний год для американского сборника: небольшой, но принципиальный. Позже Наталья Пахсарьян, автор ещё одного перевода статьи о Просвещении (он будет опубликован в филологической серии «Вестника Московского университета» в 1999-м - № 2) скажет, что здесь Фуко, ничуть не склонный к апологии Просвещения (которое не только Хоркхаймер с Адорно, хотя они, пожалуй, выразительнее всего – прямо обвиняли в катастрофах XX века), отстаивает тем не менее его актуальность «как особого философского этоса, как способа критического вопрошания о нас самих – существах, исторически детерминированных Просвещением, и об окружающем нас мире». Видимо, этот текст был воспринят здесь как настолько важный, что существует по меньшей мере в трёх русских версиях – есть ещё перевод Егора Городецкого (<http://lib.ru/CULTURE/FUKO/nachala.txt>), сделанный, судя по данным на интернет-странице, не позже июля 1999 года.

И лишь в 1996-м русский читатель увидит первую – после «Слов и вещей» – книгу Фуко: Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности / Перевод с французского С. Табачниковой под редакцией А. Пузыряя. – М.: Магистериум-Касталь, 1996.

Книги с таким названием Фуко не писал. Это – сборник, составленный хотя опять-таки не им самим, зато сплошь из «программных» текстов и довольно качественно изданный.

Тексты здесь, действительно, – программнее некуда. Прежде всего, это – «Что такое автор?»: знаменитое выступление

на заседании Французского философского общества в Коллеж де Франс в феврале 1969 года. Затем – «Порядок дискурса»: инаугурационная лекция в Коллеж де Франс в декабре 1970-го и выходящая за два года до того в «Вопросах методологии» «Забота об истине». Наконец, это – 1-й том «Истории сексуальности»: «Воля к знанию» (в электронной Библиотеке Якова Кротова приведён по этому изданию без указания на источник: [http://www.krotov.info/lib\\_sec/21\\_f/fuk/o\\_44.htm](http://www.krotov.info/lib_sec/21_f/fuk/o_44.htm)) и введение ко второму тому – к «Использованию удовольствий» (спустя 8 лет оно появится в издании 2-го тома в другом переводе – В. Каплуна).

Издание очень радует глаз не только своими полиграфическими качествами (хотя ими – тоже). Куда важнее, что в книге есть подробные комментарии переводчицы – Светланы Табачниковой и принадлежащая ей же большая, на полсотни страниц, статья «Мишель Фуко: историк настоящего». Здесь – всё: и контекст, и «фоновая» политическая деятельность Фуко во время написания изданных текстов, и запросы, на которые он отвечал, и ожидания, которые он оправдывал или обманывал (чаще – второе), и его референтные группы, и реакция современников. Примечаниям к каждому произведению предпослано ещё и маленькое введение, где сказано, в каких условиях это писалось и как прочитывалось.

Эта книга выгодно отличается от всех решительно прочих изданий Фуко на русском языке ещё и тем, что здесь есть библиография: не знаю, исчерпывающая ли, но очень подробная. Во-первых, перечислены все его книги, изданные во Франции начиная с 1954 года, во-вторых – отдельной рубрикой – «Предисловия, статьи и беседы», которых он написал и наговорил во множестве, в-третьих – «Фуко – на русском языке»: перечислено, пожалуй, всё, что к тому времени было из него переведено, и, наконец – «Избранные работы о Фуко» на французском и русском языках.

Появления русского второго тома пришлось ждать целых 8 лет – до 2004-го. Причём третий опередит его, выйдя в 1998

году в Киеве (Перевод с французского Т.Н. Титовой и О.И. Хомы под общей редакцией А.Б. Мокроусова. — Киев: Дух и Литера; Грунт; Москва: Рефл-бук, 1998.). Здесь, к горькому сожалению, опять-таки ни в вводной статье, ни послесловия, ни комментариев, — зато есть указатель цитированных произведений, указатель имён (!), чего до сих пор не было, кажется, ни в одном издании, и библиография работ Фуко, включающая особым разделом его русские переводы (увы, с ошибкой). Первый том не вышел отдельной книгой, кажется, и по сей день. Примечательно, что все они существуют в разных переводах и, значит, о единстве русской терминологии и цельности взгляда тут пока можно и не мечтать.

В этом же году в Киеве выходит «Археология знания», подводящая итоги «археологическому периоду»: «Археология знания / Перевод С. Митина и Д. Стасова под общей редакцией Бр. Левченко. — Киев: Ника-Центр, 1996. — (Opera aperta; Вып. 1)». Книга — главное (почти?) некуда, но хоть сколько-нибудь анализирующих комментариев и предисловий никаких. То есть вообще никаких.

Но «культурное беспокойство» вокруг книги явно существовало, поэтому в 2004-м году она была переведена (М.Б. Раковской и А.Ю. Серебрянниковой) и издана ещё раз, в Санкт-Петербурге, в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» и в серии «Ars Pura. Французская коллекция»: Археология знания. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», Университетская книга, 2004.

Предисловия здесь целых два: «Мишель Фуко и его «Археология знания», написанное А. Колесниковым, и — уж не впервые ли за всю историю издания русского Фуко — от переводчиков. Тут они наконец-то обращают внимание на то, что «между существующими переводами работ МФ часто отсутствует терминологическое единообразие», и предлагают небольшой список принятых ими терминов, объясняя иногда, почему предпочитают те или иные термины или каково их

происхождение. Здесь же – статья Жилия Делёза об «Археологии знания».

В 1997-м вышел наконец ещё один «знаковый» труд Фуко: «История безумия в классическую эпоху» (Перевод Ирины Стаф под редакцией В. Гайдамака. — СПб.: Университетская книга, 1997. – (Книга света)).

Здесь в качестве введения – большая статья Зинаиды Сокулер «Структура субъективности, рисунки на песке и волны времени», объясняющая место «Истории безумия» среди работ Фуко, во французской интеллектуальной традиции (и философской, и историко-научной) вообще и, наконец, корни её в биографии самого Фуко и в прожитой им исторической эпохе. Замечательная вещь, всякому бы изданию так. Правда, других комментариев нет – только примечания переводчика.

1998-й приносит нам, кроме 3-го киевско-московского тома «Истории сексуальности», «Рождение клиники» (М.: Смысл) в переводе и под научной редакцией доктора психологических наук А.Ш. Тхостова и с его же (небольшим) предисловием «Власть, Болезнь, Смерть»: немного о биографии Фуко и корнях его интереса к медицине. А кроме того, в качестве приложения к «Логике смысла» Жилия Делёза «Логика смысла» (Екатеринбург: Деловая книга) был издан текст 1970 года о Делёзе – «Theatrum philosophicum».

1999-й пополнил русского Фуко «Рождением тюрьмы» – «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / Перевод Владимира Наумова под редакцией Ирины Борисовой. Московское издательство Ad Marginem опять-таки сочло излишними комментирующие введение или заключение, ограничившись «примечаниями переводчика». В том же году Художественный журнал в качестве приложения к себе выпустил, в серии *Modus pensandi*, небольшое эссе 1973 года «Это не трубка» о дадаистской доктрине живописи Рене Магритта, в переводе Ирины Кулик, под научной редакцией Валерия По-

дороги и с его большой – в половину книги – статьёй «Навязчивость взгляда: М. Фуко и живопись».

В следующем году журнал «Ступени» (№ 1 (11), 2000) поместил работу 1971 года «Ницше, генеалогия, история» в переводе Виктора Каплуна и с его небольшой сопроводительной статьёй. Она уже выходила четырьмя годами ранее – видимо, в другом переводе (под названием «Ницше, генеалогия и история») в малотиражном сборнике переводов и рефератов «Философия эпохи постмодерна» в Белоруссии (Минск ООО «Красико-принт», 1996). Позже Каплун переиздаст её в сборнике «Ницше и современная западная мысль» под своей редакцией (Санкт-Петербург; Москва: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2003).

В 2001-м – перерыв (зато именно тогда вышел сборник «Мишель Фуко и Россия», ещё до завершения издания его основных трудов бравшийся подводить некоторые итоги наших с ним отношений). С 2002-го Фуко оборачивается к русскому читателю своей, так и хочется сказать, неожиданной стороной: только теперь мы начинаем узнавать Фуко-политика. Во всяком случае – вовлечённого в активное социальное действие.

Московское издательство «Праксис» начинает публикацию избранных политических работ Фуко – статей, интервью, материалов круглых столов - в трёх томах под названием «Интеллектуалы и власть» в серии «Новая наука политики». (Видимо, в социуме созрела восприимчивость к левым идеям, о которой вряд ли могла быть речь в начале 90-х). Всё это, по существу, вторичные тексты – зато вокруг одной из главных его тем: взаимоотношения знания и власти. Первый том выходит в переводе Станислава Офертаса. Работа растягивается на несколько лет, её выполняют разные переводчики. Второй том переводит в 2005-м Ирина Окунёва (в 2003-м она дополнит портрет «ангажированного» Фуко переводом работы «Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис)» в № 4/5 журнала «Логос», третий, в 2006-м – Борис

Скуратов. Без предисловий с комментариями опять предлагается обойтись.

«В 90-е годы, – пишут издатели в аннотации к первому тому, – в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора.» Это, мягко говоря, неточность: оставался не изданным хотя бы такой пустяк, как второй том «Истории сексуальности». Но во всяком случае, уже можно было предполагать, что за неполное десятилетие мы так или иначе освоили весь «центр» Фуко – и пришла, значит, пора осваивать его обширные окраины.

«Использование удовольствий» – второй том «Истории сексуальности» – выходит в 2004-м в переводе В. Каплуна в петербургском «Академическом проекте». (Несмотря на заявленный академизм проекта, книга – при её-то значительности – опять вышла без малейших предисловий, послесловий и комментирующих примечаний – кроме примечаний, а также введения и заключения, самого Фуко, которого, надо думать, мало заботило его восприятие в постсоветской России.) За ним последуют курсы лекций в Коллеж де Франс: переведённые А. Шестаковым «Ненормальные» (1974-75), «Нужно защищать общество» (1975-76) в переводе Е. Самарской – оба СПб.: Наука, 2005, – и в 2007-м в том же издательстве – «Психиатрическая власть» (1973-74) в переводе А.Шестакова и, наконец, уже упомянутая «Герменевтика субъекта» (1981-82), переведённые А. Погоняйло.

Кажется, на сегодня – всё.

Ну что ж: с одной стороны, Фуко теперь действительно существует по-русски почти весь – «скандалист» и «подрыватель основ» издан с подробностью, приличествующей классикам. Не переведены разве что книга о писателе Раймоне Русселе (1963), двухтомная диссертация об антропологии Канта (1964), из которой и сами французы издали только второй том, а первый хранится в библиотеке Сорбонны, – да две ран-

ние книги: «Душевная болезнь и личность» – самая первая (1954) и «Душевная болезнь и психология» (1962).

С другой, его русскоязычное существование рассеянно и хаотично. Ему далеко до единства, а вследствие того – до цельного осмысления. Чего стоит одна драматическая судьба «Истории сексуальности», умудрившейся выйти в трёх разных переводах и в разных издательствах, при том, что первый том запрятан в сборник, где его не сразу и найдёшь. Издавался он в основном непоследовательно и вырванным из контекстов: последовательность этих изданий и не думает отражать логику развития взглядов автора. Зато в ней явно сказывается развитие потребности здешней аудиторией своей потребности в том, чтобы Фуко так или иначе присутствовал в её умственной жизни. То, что он редко комментировался тщательно, как раз и наводит на мысль о том, что тексты его издавались скорее под текущую потребность, нежели в русле глубоко продуманной интеллектуальной стратегии.

Впрочем, самого Фуко задачи возведения стройной системы и выстраивания чёткой последовательности всего им написанного вряд ли сильно волновали, и в число успокоившихся на полке классиков он точно не рвался. Он и сам работал «под задачи». Хотя и в свете сверхзадачи, конечно.

Фуко со всеми своими экстравагантностями – типичный человек французских, шире – западных шестидесятых; носитель характерных для своего времени и места мифов освобождения. Его делом было преодолеть (препятствующие, значит, свободе и подлинности) установки европейской цивилизации – правда, её же собственными – рациональными, критическими, аналитическими средствами.

Сверхзадача же, в свете которой всё это делалось, – это, по всей вероятности, старая, с богатой традицией и глубокими корнями задача освобождения (западноевропейского – нововременного) человека. Освобождения его, насколько возможно, и от самой этой цивилизации с её условностями (отдавать

себе отчёт в рассеянной повсюду, «диффузной» власти – не значит ли уже – дистанцироваться от неё, то есть хотя бы сколько-то, хотя бы внутренне быть от неё свободным?), и, в конце концов, от самого себя. Точнее, от того образа его, который создала – и продиктовала, если не сказать – навязала homo sapiens’у западная же мысль. В общем, западному человеку предлагалось освобождение от тех ловушек, которые он сам же себе и расставил. (Из этого, конечно, ничуть не следует, что вслед за этим сразу же не возникнут новые, но это уж отдельный вопрос, ставить который, по всей вероятности, Фуко находил преждевременным, если не излишним).

Вряд ли сам Фуко усматривал в своих работах – в которых постоянно менял углы зрения и даже толкования одних и тех же терминов – нечто более фундаментальное, нежели инструмент (хотя, конечно – большой инструмент большой культурной работы).

Мы же, напротив того, усваиваем его как классику западной мысли. Надеемся – по сей день надеемся! – приобщиться с его помощью к этой самой цивилизации, стать её частью. Конечно, вместе с нею мы наследуем и «встроенную» в неё задачу освобождения от неё, и старые добрые традиции её отрицания и преодоления. Ситуацию нельзя не назвать парадоксальной, но ничего не поделаешь: наше самопознание сейчас приняло форму этой задачи.

Насколько систематически мы используем в этих целях наследие Фуко – так ли уж важно?

## ИЗ ЗАМЕТОК К КРИТИКЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗУМА<sup>5</sup>

*Культурология: Энциклопедия. В 2-х т. / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007. – 1392 с., 1184 с. – (Summa culturologiae).*

### Особенности смысловой картографии

Мне издавна казалось, будто в самом типе «энциклопедического» описания реальности, в усилиях каталогизировать её, необъятную, в форме энциклопедии есть нечто отчаянное, если даже не сказать – обречённое. Стремясь, в соответствии с самим своим принципом, к полноте (в пределе – к тотальности, к всеисчерпанности), энциклопедии обречены никогда этой полноты не достигать, лишь бесконечно к ней приближаясь, наращивая число своих томов, увеличивая количество статей в них – втягивая в свою орбиту всё новые, прежде не замеченные предметы.

Когда речь заходит о таком безграничном явлении, как культура, помноженном ещё на бесконечность (по крайней мере, потенциальную) количества её пониманий и толкований – дело усложняется ещё более. Число бесконечностей вырастает на порядок, уже хотя бы потому, что каждая из культурных областей – небольшая бесконечность сама в себе.

Так зачем же человек берётся?

А вот именно потому и берётся.

Как раз от бесконечности собственного предмета энциклопедия получает и смысл, и возможности роста.

Энциклопедия, по идее – карта освоенной территории. Знак

<sup>5</sup> Опубликовано: Знамя. – 2009. - № 2. = <http://magazines.russ.ru/znamia/2009/2/ba19.html>

владения этой территорией и устройства её по собственным соображениям. Но это – такая карта, которую можно рисовать *всегда*. И такая территория, которая возникает во многом в процессе её картографирования.

Работа над энциклопедией «Культурология», принявшей теперь вид двух толстенных томов по тысяче с лишним страниц каждый – идёт, по признанию составителей, с 1991 года<sup>6</sup>. Первый опыт – два поджарых томика – вышел десять лет назад и ограничивался именами и идеями XX века. Ко второму изданию изменился прежде всего объём – один лишь выход за пределы XX века уже позволил включить в энциклопедию множество статей, например, посвящённых мировым религиям и крупным мыслителям прошлого. Теперь здесь представлены все традиционно выделяемые культурные эпохи, они же – смысловые комплексы западной культурной рефлексии: античность, средневековье, Возрождение, Новое Время. Многие статьи увеличились в объёме (не уменьшилась, кажется, ни одна, зато многие, и не всегда объяснимым образом, исчезли) и были написаны заново другими авторами. Но изменилась, похоже, сама концепция культуры и изучающей её культурологии. И не только в том смысле, что взгляд на них – благодаря росту количества тем – получился более подробным и объёмным.

Центральное понятие всей энциклопедии, культуру, первое издание представляло как «совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и деятельности, обрётённых знаний, образов самопознания и символических обозначений окружающего мира», «“возделанная” среда обитания людей, организованная посредством специфических человеческих способов (технологий) деятельности и насыщенная продуктами (результатами) этой деятельности»; как «прежде всего свод “правил игры” коллективного существования, разработанная людьми система нормативных

технологий и оценочных критериев»<sup>7</sup>. «Обобщающее понятие “культура”, – скромно писал автор статьи в первом издании А.Я. Флиер, – есть не более чем умозрительная категория, отмечающая определённый класс явлений в социальной жизни людей, определённый аспект их совместного существования.»<sup>8</sup>

Во втором издании взгляд меняется принципиально. Теперь культура – «сложная гомеостатическая система <...> внебиологической природы, содержащая совокупный опыт видового существования человека и обеспечивающая накопление, воспроизводство, развитие и использование этого опыта, параллельно с воспроизводством видовых признаков самого человека» и относящаяся «к классу квазиживых адаптивных систем»<sup>9</sup>. То есть – мир в себе.

### **Общая Теория Всего**

Иначе видится теперь и сама культурология. Если в первом издании она определяется как «наука, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность, как специфическую функцию и модальность человеческого бытия»<sup>10</sup>, то во втором она, по меньшей мере – «научная дисциплина, содержание которой составляют теория и практика системных исследований феномена культуры»<sup>11</sup>. А по большому счёту – «самосознание культуры XX века»<sup>12</sup>.

Кстати говоря, «в западной науке это название» – несмотря на своё западное происхождение<sup>13</sup> – «не привилось».<sup>14</sup> Более

<sup>6</sup> Изд. 1, т. 1, с. 7.

<sup>7</sup> Изд. 1, т. 1, с. 336.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Изд. 2, т. 1, с. 1042.

<sup>10</sup> Изд. 1, т. 1., с. 371.

<sup>11</sup> Изд. 2, т. 1, с. 1069.

<sup>12</sup> Там же, с. 8.

<sup>13</sup> Термин «культурология» предложил ещё в 1909 году немецкий философ и химик Вильгельм Оствальд, который даже применял его во многих своих работах (Изд. 2, т. 1, с. 6). Это он – пишет С.Я. Левит в предисловии ко 2-му изданию, - «фактически первым определил культуру как явление, требующее для своего изучения особой науки» (Там же), притом считал культурологию «одной из наук XX века». Судя по

того, «прямой аналог отечественной культурологии, – признаёт автор статьи в первом издании, – в принятых за рубежом классификациях выявить сложно»<sup>15</sup>. Зато «за последние 2-3 десятилетия» слово «культурология» «прочно закрепилось в России»<sup>16</sup>: надо полагать, вкупе со смыслами и претензиями, заметно отличными от характерных, скажем, для англоязычных *cultural studies*. Поэтому всё сказанное ниже относится прежде всего к отечественной версии культурологии – несмотря на то, что представления о ней во втором издании излагаются почти исключительно по Уайту, Крёберу, Гирцу и прочим представителям англоязычного мира. Основываясь в большой мере на теоретическом опыте европейцев и американцев (кстати, основная часть вновь вошедших в энциклопедию имён – британские и американские антропологи, социологи, этнологи), наши культурологи дали этому опыту, похоже, собственную интерпретацию.

Культурология здесь и сейчас, пожалуй, – единственная из наук, которая всерьёз, программно, претендует на то, чтобы – оставаясь (в идеале) именно наукой, то есть точным, доказательным знанием – быть Общей Теорией Всего. Общей теорией всех дел человеческих – в той мере, в какой они не природны и в какой они связаны друг с другом. Ибо культурология – наука о связях.

Более того, она (в том, по крайней мере, виде, в каком представлена в энциклопедии) чувствует себя призванной быть и своего рода универсальным инструментом культурной гармонизации. В условиях, когда «языки культуры» взаимно не переводимы и не заменимы друг другом»<sup>17</sup>, когда «степень адекватности этого перевода <...> зависит от множества факторов», – «культурология *каждый раз* (Выделено мной. –

всему, он остался не услышанным, – настолько, что Лесли Уайту – второму основателю культурологии – 30 лет спустя пришлось вводить этот термин заново независимо от Оствальда и, похоже, не ссылаясь на него.

<sup>14</sup> Изд. 1, т. 1, с. 371.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Изд. 2, т. 1, с. 1078.

О.Б.) берет на себя функцию универсального посредника в любом (! – О.Б.) диалоге культур и культурных форм»<sup>18</sup>. Она – «универсальное знание-представление»<sup>19</sup>.

То, что именно в России в начале 90-х «в отличие от Запада, в научной литературе и научных кругах прочно укоренился термин «культурология», С.Я. Левит связывает «в первую очередь» «со значительными научными достижениями в этой области»<sup>20</sup> (можно поспорить, что по ту сторону наших западных границ они к тому времени были несколько значительнее), «со становлением культурологии как междисциплинарной области знания, реализующей характерную для конца XX века идею синтетической науки, задача которой заключается в интеграции результатов изучения культуры»<sup>21</sup>. Эдакий Gesamtkunstwerk всего гуманитарного знания.

### **Конструирующий разум и утопия цельности**

Если говорить о специфике культурологии в отличие от всех прочих родственных ей дисциплин, на пересечении которых она образуется и из опыта которых она строит свой собственный, - это будет, пожалуй, стремление<sup>22</sup> увидеть все изучаемые явления *sub specie* культурного целого; каждое описать в той мере и в том смысле, в каких оно имеет отношение к Целому, оказывается узелком связей, пронизывающих Целое; в каких оно определяет характер Целого и само определяется им.

Целое, Цельность – ведущие интуиции культурологии. Её пример, как, может быть, мало что другое, даёт заметить, что в основе наук как предприятий по рациональному исследова-

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Изд. 2, т. 1, с. 1076.

<sup>20</sup> Изд. 2, т. 1, с. 8. Справедливости ради надо сказать, что автор статьи «Культурология» во втором издании Ю.В. Осокин занимает более скептическую позицию, говоря, что это связано прежде всего «с чрезвычайно расширительным толкованием» у нас в отечестве «того, что такое культурология» и, наконец, попросту с тем, что «именоваться культурологом <...> оказалось в какой-то момент более престижным и модным, чем, скажем, «культурпросветработником», «искусствоведом» или даже «теоретиком культуры» (Изд. 2, т. 1, с. 1076).

<sup>21</sup> Изд. 2, т.1, с. 8.

<sup>22</sup> В данном случае не важно, в какой мере это удаётся на самом деле.

нию мира лежат – недоказуемые, априорные, аксиоматичные, как им и положено – исходные интуиции, задающие характер всего, что над ними «надстраивается».

Но как моделировать культурное целое с достаточной степенью чёткости и точности? Как говорить о нём точно, общезначимо и доказательно, а не (только) на размытом и приблизительном языке образов? Не ставит ли культурология таким образом перед собой – принципиально, по определению – невыполнимых задач?

В каком-то смысле – безусловно.

История западной мысли вообще, а науки, пожалуй, даже в особенности – может быть понята как история утопий: принципиально невыполнимых сверхзадач, которые – не только несмотря на свою невыполнимость, а как раз вследствие её – заставляют западный разум превосходить самого себя, порождают множество вполне выполнимых программ, которые даже достигают целей.

Утопии – не столько программы (программы по отношению к ним вторичны – конструируются под их влиянием и могут сменять друг друга), сколько внутренние беспокойства культурного организма, задающие ему направление движения.

Культурология как проект – органичная часть этой истории. Её ведущая, организующая и выращивающая утопия – утопия цельности.

«Цельность» – утопия вообще весьма конструктивная. Она сообщает смысл любой детали, о какой только способна зайти речь. Всякий предмет – от литературного, скажем, жанра до бытового предмета – из замкнутой на себя точки превращается в узелок бесконечного количества проходящих через него связей – нет, в живой, нервный, чувствующий узел, который и сам, уже одним фактом своего существования, влияет на характер и жизнь целого, в которое вращен. Мы можем не знать – не исключено, что никогда и не узнаем, – «в чём» этот

смысл состоит, но можем быть уверены, что он – есть. «Утопия цельности» представляет смысл чего бы то ни было как связь: как отношение к Целому, как место в этом Целом.

Это – хоть и главная, но не единственная утопия, питающая культурологию. Она плодотворно сотрудничает в её составе с другими «научообразующими» (на самом деле шире – культурообразующими) утопиями западной культуры. Будучи однажды пережиты, утопии никуда не исчезают – сколько бы ни доказывалась их «несостоятельность», «исчерпанность» и «ограниченность». Вздор: утопия не может быть исчерпана никогда, на то она и утопия. Такие доказательства – законная часть их биографии, необходимая для того, чтобы они ушли себе в глубину культурной памяти, накапливались там и оттуда – неявно, но тем более властно – определяли всё происходящее.

В составе культурологии нетрудно узнать в качестве такой «неявно сотрудничающей» утопии старый, добрый, оптимистичный новоевропейский рационализм – с его верой в возможность и необходимость тотальной «рационализации нерационализируемого», «исслеживания неисследимого» – того, чтобы сделать всё прозрачным для моделирующего, исчисляющего и измеряющего разума. Культурология, несомненно – законный его наследник и продолжатель его традиций. Только другими, более тонкими и сложными средствами.

Именно таковы востребованные нынче в культурологии (судя по энциклопедии, они в ней сейчас – самые главные) средства, заимствуемые у общей теории систем и синергетики.

На самом деле, утопия цельности в европейской мысли куда более стара, чем утопия рационального конструирования. И, разумеется, подчиняет эту последнюю собственным целям.

Очень возможно, что утопия цельности извлекается из культурной памяти и выходит на поверхность в критические моменты истории. Она имеет, если угодно, терапевтическую ценность.

## Natura Secunda

Человек – существо беззащитное. Особенно в посттрадиционном состоянии культуры. Такова плата за *действенную утопию* прогресса, владевшую умами и чувствами людей новоевропейской культуры не одно столетие да и теперь ещё, несмотря на все беды, не утратившую вполне ни своего очарования, ни своей власти. В конце концов, само представление о том, что удастся создать науку, способную адекватно и гибко понимать человеческие миры в их цельности, а значит – способную помочь человеку правильно выстроить свои отношения с этими мирами и с разными их элементами, науку, способную шагнуть и в познавательном, и в этическом смысле принципиально дальше, чем все дисциплины, «на стыке» которых она сформировалась, – разве это не следствие своего рода веры в прогресс знания и построенного на нём действия?

Культурология – разновидность защиты, предлагаемой интеллектуалами: конечно, в основном для самих себя, но что ж поделаешь. Она – предприятие прежде всего *экзистенциальное*. На эту мысль наводят и настойчиво повторяемые составителями энциклопедии слова о том, что культурология – это не просто «частная наука о культуре и её внутренних закономерностях развития»<sup>23</sup>, – но ещё и «мировоззренческая междисциплинарная методология»<sup>24</sup>. Мировоззренческая! – то есть намеренная предлагать человеку образ мира вообще, а с ним и, не так уж неявно, некоторый набор представлений о том, как себя в этом мире следует вести. Раньше этим, помнится, идеологии занимались. Одна из них даже настаивала на своём научном характере. От таких претензий отказалась уже и философия, скромно отведя себе роль «теоретической интерпретации мировоззренческих проблем»<sup>25</sup>. Но, видно, место «мировоззренческой» дисциплины пусто не бывает. Вроде бы, кроме культурологии, сегодня на эту роль ничто не

<sup>23</sup> Изд. 2, т. 1, с. 10.

<sup>24</sup> Там же.

<sup>25</sup> Изд. 2, т. 2, с. 812.

претендует, включая и религию, которая всё-таки убедительна только для верующих, – а они в нынешних западных обществах (включая наше) вряд ли преобладают.

Язык и вид науки это предприятие избрало для себя, по всей вероятности, потому, что эти язык и вид для современного – последних двух столетий – европейца, несмотря на многократно декларированные «разочарования» в науке, продолжают оставаться наиболее убедительными. Это не значит с неперемённостью, что культурология – не наука или, не приведи Господь, квазинаука. Это значит всего лишь, что она – наука не в первую очередь и что она только потому и наука, что корни у неё – куда более глубокие.

Культурология – смысловой организм, выращенный западной культурой для защиты человека от культурной среды, которая на определённом этапе развития западных обществ перестала разуметься сама собой – и начала активно замечаться, то есть подвергаться рефлексии. Западный человек вдруг обнаружил, что его культура и порождённая ею цивилизация – какие-то «не такие», какими бы им стоило быть по большому счёту. Культурная среда начала ощущаться как по меньшей мере не вполне комфортная. А иной раз и прямо враждебная.

Об этом свидетельствует появление в западном интеллектуальном мире множества концепций, объединяемых под названием «критики культуры» – и вообще самой позиции этого типа (а заодно и неотделимой от неё, очень устойчивой идеологемы «кризиса (западной) культуры» – статья об этой идеологеме относится к числу тех, которых очень не хватает в энциклопедии). Заявленная ещё Ницше во второй половине XIX века, эта позиция неспроста была встречена с таким энтузиазмом и породила целое культурное течение, объединив умы таких непохожих друг на друга людей, как, скажем, Ортега-и-Гассет и Альберт Швейцер, Анри Бергсон и Георг Зиммель, прямо представивший отношения «жизни» с «формами

культуры» как «конфликт»<sup>26</sup>, не говоря уже о чрезвычайно influential Зигмунде Фрейте, написавшего в 1930 году один из самых «знаковых» текстов о «неудовлетворённости» своих современников культурой. Всё это получило интенсивное развитие потому, что соответствовало созревшим ожиданиям (ведь и непрофессионалы взахлёб читали!), и произошло это, что характерно, как раз в первой половине XX века, когда начали особенно активно складываться концепции, которым предстояло лечь в основу будущей культурологии.

Критика культуры становится популярным, если не сказать преимущественным (...а дальше так и хочется сказать – уже и банальным, со своими стереотипами и автоматическими ходами мысли), занятием интеллектуалов. Против культуры в XX веке начинают бунтовать и более-менее рядовые её обитатели, не «заточенные» специально под рефлексию и проблематизацию. Возникают различные формы контркультуры и вообще альтернативного культурного поведения. Не отсюда ли – и вообще выдвигание в западных культурах молодости на роль привилегированного возраста? Молодой человек – не вполне «свой» в культуре, он – пока не адаптировался – смотрит на неё хоть немного да извне, и отвержение в той или иной степени «культуры отцов»<sup>27</sup> (в западных обществах), на известном этапе его личностного становления, входит для него в обязательную культурную программу.

В конце XIX и особенно в XX веке культура была прочувствована, а затем и осознана – как *среда*: особая среда обитания человека, вполне сопоставимая с природной – хотя и созданная человеком, но, подобно природной, обладающая самозаконностью, неготовностью вписываться в человеческие ожидания. Она предстала перед человеком как Вторая Природа – *Natura Secunda*, ничуть не менее чужая и непредсказуемая, чем Первая. И начало культурологии как развёрнутого курса – в чувстве, что эта среда должна быть описана, понята,

<sup>26</sup> Изд. 2, т. 1, с. 5.

<sup>27</sup> Изд. 2, т. 1, с. 981.

изучена и, в конечном счёте, так или иначе покорена (хотя бы адекватным её пониманием) совершенно так же, как природная. Не потому ли вначале отцами-основателями культурологии (тем же Оствальдом) для её описания применялись те же модели, что уже как-то зарекомендовали себя в описании природы – например, эволюционистские?

Это и сейчас никуда не ушло. Синергетику и общую теорию систем – привилегированные источники теоретических моделей для нынешней культурологии – создали, между прочим, тоже естественники: химики, физики, биологи<sup>28</sup>...; у истоков её стояли химик Илья Пригожин да физик Герман Хакен.

Так вот: культурология, эта физика Второй Природы, может быть описана как один из ответов западной культуры на травму *детрадиционализации* – выхода из традиционного состояния. Она – такой ответ, в котором никогда нельзя поставить точки, поскольку процесс детрадиционализации благополучно продолжается и вряд ли, пока будем живы, когда-нибудь достигнет предела: западная культура самим своим устройством, самим набором своих ценностей оказалась обречена на динамизм и на постоянное, принципиальное, программное преодоление каждого из своих достигнутых состояний.

Кстати, спроста ли у этой области мысли престранный статус? Она по сей день – хотя ей, и то если считать от Лесли Уайта, уже почти семьдесят лет (если от Оствальда – вообще почти сто) никак не может выйти из первоначального, черного состояния – из «стадии становления»<sup>29</sup>. И это – «несмотря на обилие исследований культуры как у нас в стране, так и за рубежом»<sup>30</sup>.

Может быть, дело – вовсе не в количестве исследований и даже не в качестве их результатов?

<sup>28</sup> См., например, изд. 2, т. 2., с. 470.

<sup>29</sup> Со слов именно об этом начинается предисловие главного редактора и автора проекта С.Я. Левит ко второму изданию: изд. 2, т. 1, с. 5.

<sup>30</sup> Там же.

## Защита как незащищённость

Уж не в этом ли одно из её – трудно сказать, насколько осознанных – культурных заданий – оставаться всё время в состоянии становления, роста, пробования разных возможностей? Быть черновой – а вовсе не «результатирующей», как может показаться – зоной культуры; областью проблематизаций; первичного разминания материала, который затем подвергается разработке научными в полном смысле слова дисциплинами. Культурология, конечно, может подводить итоги этим разработкам, встраивать их в новые перспективы. Но коренная её задача – не в этом, а в том, чтобы открывать в культуре неосвоенное и предлагать его к освоению.

Она – столь же тщательное выстраивание защиты «посттрадиционного» человека от его неустранимо чужеродной среды, сколь и постоянное воспроизводство незащищённости. Тоже «программное».

Культурологи – первооткрыватели, разведчики. Замыкая границы, они размыкают их – чуть ли не тем же самым движением.

На мысль о том, насколько вторично (даже, по существу, не обязательно) здесь всё научное, строгое и академичное, – наводит многое. Например, то, насколько органично уживается внутри культурологического дискурса постмодернистская философия культуры с её «отказом от стремления к идеалу научной объективности»<sup>31</sup>, с (вполне чуждым науке) признанием «релятивности любых интерпретаций»<sup>32</sup> и ничуть не менее чуждым ей, тяготеющей к универсализму – утверждением «несоизмеримости и непереводаемости смыслов, присутствующих в разных культурных мирах»<sup>33</sup>.

Принципиально черновой, первооткрывательский характер культурологической мысли подтверждается и тем, что один

<sup>31</sup> Изд. 2, т. 1, с. 5.

<sup>32</sup> Изд. 2, т. 1, с. 6.

<sup>33</sup> Там же.

из основных, даже конституирующих жанров здесь – эссе с его нестрогостью, образностью, афористичностью, прихотливой субъективностью (статьи здесь ему почему-то не досталось). Стоит обратить внимание и на роль в ней дилетантов, чудаков, людей «со стороны» – на мой взгляд, явно повышенную сравнительно, скажем, с социологией или этнографией. (Опять же: статья о дилетантизме как типе работы со смыслами была бы в энциклопедии, на мой взгляд, очень уместна.) Таков был один из главных вдохновителей культурологии Освальд Шпенглер, доводивший своими идеями профессионалов до белого каления; таков был «воскресный историк» Филипп Арьес, который по будням торговал тропическими фруктами, а в свободное время насоздавал спорных, но броских концепций, побудивших к серьёзной работе историков-профессионалов; таков был и наш Николай Яковлевич Данилевский, естественник по образованию и роду основных занятий (статья о нём наконец-то появилась во втором издании). Естественно: растущая область мысли, постоянно нащупывающая свои контуры и возможности – нуждается в разведчиках и авантюристах, на роль которых дилетанты годятся более всего. Сама культурология – такой «профессиональный дилетант» среди всех научных и не очень областей и дисциплин, которыми питается: её преимущество – взгляд извне.

У культурологии непременно должны быть широкие, нестрогие, размытые окраины. Они для неё – важнейший смысловой ресурс. Может быть, она вся – такая окраина. А островкам строгой, точной мысли в ней суждено оставаться именно островками, точками опоры для непредсказуемого (так и хочется сказать: всегда немного безответственного) движения.

## ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ<sup>34</sup>

### Метро задаёт своим пассажирам матрицу существования

Едва Московский метрополитен начал строиться – и даже когда он был только задуман – сразу стало ясно, что это всё неспроста. Причём заподозрили это и те, кто особой философской и уж тем более метафизической чувствительностью явно не отличался. «Московский метрополитен, – заметил тогдашний нарком путей сообщения Каганович, – выходит далеко за рамки обычного представления о техническом сооружении». Конечно, в воображении его современников и соратников по историческим битвам метро представляло собой не что иное, как «символ строящегося нового социалистического общества».

Станции-дворцы символизировали, конечно, историческую мощь победившего пролетариата, а сами подземные дороги – заботу партии с правительством о народе и заодно всеобщее равенство: дворцы-то были коллективные, да ещё построенные руками тех, кто тут же и ездит. Но проглядывало в них – уже тогда – и кое-что надысторическое: свет, заливавший подземные дворцы днём и ночью, летом и зимой, не мог не восприниматься как отблеск вечности. Кроме того, у этой вечности с самого начала было двойное дно.

Московское метро уже при возникновении оказалось неотделимым от таинственности с привкусом чего-то угрожающего: оно изначально строилось – и все это более-менее себе представляли – как сооружение военное, у станций подразумевалась и функция бомбоубежищ, которую они благополучно и выполнили во время войны; наконец, среди подземных

<sup>34</sup> Опубликовано: Частный корреспондент. - Воскресенье, 10 мая 2009 года, 09.46. = <http://www.chaskor.ru/p.php?id=5816>.

сооружений были и военные объекты, и ведущие к ним тайные пути, волнующие наземных жителей и по сей день.

О том, что метро – сооружение ритуальное, догадывался не только товарищ Сталин с коллегами, хотя именно при нём эта интуиция, на радость исследователям и простым любителям, была выговорена и осуществлена, пожалуй, наиболее явно и подробно. Сталинский «метродискурс», как назвал это Михаил Рыклин, позволил подробно рассмотреть тот факт, что метро – развёрнутое высказывание весьма о многом.

Этот первый опыт явной символизации подземного транспорта запустил маховик, который раскручивается и по сию пору. Социалистическая символика осталась в истории как всего лишь один из бесчисленных вариантов смысловой насыщенности подземных путей.

Кстати, носители советского метродискурса 1930-50-х догадывались об этом и сами, когда критиковали метро Лондона и Нью-Йорка, Берлина и Парижа за едва ли не черновую функциональность, за нежелание выходить за рамки только транспорта. Советские критики не истратили бы на это столько чернил, когда бы и западные метрополитены, в свою очередь, не были высказываниями – только о другом: о функциональности как ценности, о прагматизме и рационализме как «правильном», конструктивном отношении к жизни. На эти же темы, кстати, заговорило и советское метро хрущёвской эпохи, когда появились аскетичные, сдержанные до скудости станции типа московских «Новых Черёмушек», «Первомайской» или «Войковской»: кафель да колонны; в этом поддержало его и метро брежневское, с его одышливым мрамором. Не внешнее – главное, – сообщали эти станции своим пассажирам. Суета всё это. Главное – дело и общие задачи (о нём намекали странникам, например, «космические» панно на «Таганской»-радиальной) или, скажем, вписанность в общую историческую судьбу (к ней отсылали гербы русских городов на позднебрежневской станции «Свиблово», раскидистое, наводящее на мысли о Мировом Древе – дерево-

государство с советскими республиками на ветвях – на «Боровицкой»). Или вообще – внутренняя жизнь, от которой внешняя просто не должна отвлекать.

В общем, мало-помалу стало ясно, что погружение человека в Большие Смыслы (и младшая его сестра – идеологичность) вообще присуща метро как форме жизни. В любом из метрополитенов городов мира мы запросто в этом убедимся.

Свидетельство тому – и хайтек новейших мюнхенских, парижских, сингапурских станций, внушающих нам, ничуть не хуже сталинского метродискурса, идею торжества техники и интеллекта, и крикливая роскошь красной ветки метро в Лос-Анджелесе, призывающая, должно быть, всю наслаждаться жизнью. Сказочные пещеры метрополитена в Стокгольме и екатеринбургское метро, отделанное уральским камнем, отсылают нас и вовсе к дочеловеческой, геологической истории. Что до метрополитена шведской столицы, то он вообще пользуется славой «самой длинной художественной галереи в мире». Даже простая вроде бы терракотовая плитка пражского метро (знакомая нам по и московской «Пражской») нашёптывает путнику что-то о том, что жизнь способна быть уютной, доброй и человекоразмерной. В общем, каждая подземка многими языками стремится сказать своему пассажиру сразу много всего – да ещё и увязать это в единый чувственно-семантический комплекс, чтобы не только виделось, но и чувствовалось, и проживалось – а значит, и думалось – в заданном ритме сообщений и пауз. Глотнув впечатлений на станции – усваиваем их в темноте тоннеля.

В чём тут дело? В дороговизне ли строительства метро и его эксплуатации? Понятное дело, за такие деньги хочется понаубивать как можно больше зайцев: и доставить пассажиров с места на место, и внушить им нужные идеи о жизни вообще, и уговорить их купить что-нибудь... – Да ну бросьте вы. В какие-нибудь небоскрёбы или роскошные торговые центры вкладываются небось тоже изрядные суммы, но так, как метро, они почему-то никого не волнуют. Во всяком случае, связанные с

ними волнения – куда более плоского и поверхностного свойства. Я уж не говорю об авиации: летать по небу наверняка гораздо дороже. Вроде бы даже и мифологичнее – ранняя авиация и впрямь сильно будоражила воображение современников. Однако это прошло и довольно быстро, и очень давно: авиация благополучно превратилась в одно из технических средств. Выродилась, так сказать, в чистую инструментальность. А вот с метро ничего подобного не случилось.

Всё дело – в подземной природе метрополитена, – так и хочется сказать, хтонической. Человек здесь не просто помещается в особый мир с собственными законами и оказывается в его власти – как в кино, где внешнее тоже убирается. Нет, он спускается здесь к собственным корням. Погружается в материнское лоно. Всё, что здесь происходит – по определению обязано быть магичным и таинственным.

Метро – это глубоко. И не только в том смысле, что оно под землёй – хотя, спору нет, без этой подземности ничего бы не было.

Метро – подсознание городов, область их вытесняемых (и, разумеется, тем упорнее властных) желаний. Даже больше: оно – подсознание всей породившей его культуры – обязательно вместе с её цивилизацией, поскольку включает в себя и технический компонент, – скопление её мечтаний, грёз, бреда, умолчаний и тайных возможностей. Эта сказка для взрослых – «царская дорога» в бессознательное, прямо как сновидения (да оно и есть сновидение, только систематически осуществлённое во плоти, что и позволяет рассмотреть его как следует). Согласитесь, города, лишённые метро – лишены тем самым и некоторого дополнительного, придающего объём измерения. И, напротив, города с метро – это волей-неволей города с тайной и подтекстом.

Реклама, забившая нынешние метрополитены – это быстрый сон. Архитектура станций – сон медленный. Такой медленный, что почти близкий к вечности. А сон-посредник ме-

жду ними – неизвестный физиологии, зато хорошо знакомый физиологии метрополитенов – это дизайн вагонов.

История метро – это, несомненно, история идей – а также неотделимых от них иллюзий, надежд, мечтаний, самообольщений, прожектов... Оформление станций – конспект всего этого, скоропись духа времени. Пассажир считывает записанное всем телом – и делает частью себя.

Зря, что-ли, среди обширного племени перидромофилов – ценителей и знатоков всего, связанного с дорогой – фанаты метро составляют совершенно особую группу? По общему настроению, если угодно. По существенно большей близости к мифологической и магической компоненте культуры.

На сайтах, посвящённых истории и символике метрополитенов, можно вычитать об этом много интересного. Так, например, в известной эмблеме работников метрополитена, «птичке», метрофилы усматривают крылатый диск – символ солнечного бога Ра, наследие Древнего Египта. В разводном ключе, который на другой эмблеме скрещен с молотком – «прибор для измерения ширины открытия глаз» (вы же понимаете, что речь идёт о метафизическом зрении). В простом, казалось бы, значке со схематической молнией, обозначающем высокое напряжение, просверкивает им древнеримская молния бога Юпитера. В самой букве «М», ставшей обозначением этого вида транспорта в русскоязычных городах, видится древнегерманская руна, символизирующая не что-нибудь, а как раз «подземный мир, мрак и преисподнюю» (значит ли это, что славянское метро залегает ближе к преисподней, чем, скажем, англоязычный *underground*? Как знать!..).

Дело здесь даже не в том, насколько всё это «соответствует» или «не соответствует» истине. Если люди так видят и чувствуют – это уже истина, да ещё какая властная. Значит, у них есть потребность именно в такой истине. Истина ведь, как известно, изготавливается на заказ.

Не говоря уж о том, что метро накладывает на жизнь каждого, обитающего в городе с развитым подземным транспортом – на москвичей-то уж вне всякого сомнения – одну из безусловно формирующих матриц. Метро – большая записная книжка с заданными графами, которую каждый из нас заполняет своими письменами – а метро поддерживает их, задаёт им общую структуру, вписывает их в общегородские и, может быть, даже во всемирно-исторические сюжеты. В кровеносных узлах его пересадочных станций завязываются и наши жизни – и текут затем по его линиям, насыщаясь кислородом смыслов и углекислым газом бессмыслия. Все мы, дети подземелья, обязаны метро структурой собственной личности. Всякий москвич, думается, подтвердит, что у каждой его ветки – своё эмоциональное, я бы сказала, даже экзистенциальное звучание. Есть линии детства и юности (для меня, например, это – красная Сокольническая и зелёная Замоскворецкая), есть линии одиночества и тоски (у меня таковы – все насквозь – серая Серпуховско-Тимирязевская, горькая тёмно-синяя Арбатско-Покровская), есть линии роста и надежды (в эти состояния меня возвращают, в любой из своих точек, прекрасная рыжая Калужско-Рижская и мудрая лиловая Таганско-Краснопресненская). И это чувствуется всегда – даже когда едешь по ним в других состояниях и с другими настроениями.

## НОМО TURISTICUS<sup>35</sup>

Встреча с городом позднего детства и ранней юности, городом мучительного роста и трудных открытий, которым волею судеб у меня оказалась Прага, – обернулась для меня этим летом – после почти двадцатилетней разлуки – непредвиденным испытанием. То есть, испытаний я, разумеется, ждала, только совсем других. Ну, например, – встретиться лицом к лицу с началом жизни, увидеть, что жизнь-то вся и прошла, сравнить себя с тогдашними ожиданиями, планами и ценностями, обжечься о тогдашние чувства, оценить, насколько всему этому теперь соответствуешь, обнаружить, что всё получилось совсем не так – или напротив, слишком даже так... А вот самым трудным взяло да и оказалось совсем не это. Город оказался другим.

Вернее, не столько сам город, сколько туристы, туристы.

Нет, тогда, в восьмидесятых, они тоже были. И в общем даже казалось, что их много. Но теперь это было что-то немыслимое. Московское метро в час пик – слабая метафора для того, что в разгар белого дня творилось на Карловом мосту, на Малой Стране, на Староместской площади, в соборе святого Вита. Толпы людей, тесно-тесно притиснутых друг к другу, пробивались в разных направлениях, торопясь, толкаясь, стараясь не отстать от своих экскурсоводов, послушно поворачивая головы, куда те им – перекрикивая коллег-конкурентов – показывали. И фотографировали, фотографировали, фотографировали. На каждом углу старого пражского центра (в его медленных складках, пропитанных временем, которые мне хотелось гладить пальцами) были осаждаемые туристами киоски с сувенирами.

<sup>35</sup> Опубликовано: Рабкор.ру: Интернет-журнал. = Суббота, 5 сентября 2009, 09:59. = <http://www.rabkor.ru/authored/3787.html>.

«На это невозможно смотреть, – ворчал мой суровый спутник, оказавшийся в одном из эпицентров мирового туризма первый раз в жизни и свободный, в отличие от меня, от связанных с Прагой сентиментальных личных воспоминаний. – Что эти пражане делают со своим городом? Во что они его превратили? Они же распродают его по кусочкам! Это же торговля в храме!»

Да и то, правду сказать.

Туристические толпы, забившие центр Праги, и в самом деле заслоняют город от человека, который когда-то был его частью. Они мешают рассмотреть город, они совершенно не дают его почувствовать, полностью лишая диалог с ним всякой интимности и приватности. Они превращают его в предмет массового потребления, в аттракцион. Ради них город, некогда живой и трудный, теряет искренность и подлинность. Он и сам с готовностью оборачивается раскрашенной мумией с тщательно наложенным макияжем, чтобы вечно выглядела молодой, красивой и беззаботной. А главное, совершенно безобидной и безопасной. Все морщины замазаны, все синяки запудрены, все ядовитые зубы тщательно удалены. Пожалуй что, и внутренности вынуты, заменены ароматическими веществами.

Какой ужас.

Ну что с этим делать?

От стихийного бедствия массовый туризм отличается разве что своей планомерностью и организованностью. Предметом туристической эксплуатации может оказаться всё, что угодно: шрамы былых страданий, следы старых катастроф, память о прежних унижениях. Каждое событие разрастается в легенду; легенда, в свою очередь, обкатывается до туристической общепотребимости (какую карикатуру из прошлого устроили в пражском музее коммунизма, ого-го!).

Туризм, конечно, – думала я, идучи по Вацлавской площади, оглядывая киоски с сувенирами, слыша многоязыкие голоса вокруг себя, среди которых терялась лёгкая, прозрачная чешская речь, – форма культурного принуждения, «прессинга»: «надо» ездить, «все» ездят. Есть список мест на земле (слава богу, для разных людей он всё же в той или иной степени разный, но тем не менее), которые «культурный» человек непременно должен увидеть. Увидеть Рим и умереть. Увидеть Париж и умереть. Прага – самый красивый город на земле. А значит – надо смотреть, смотреть, смотреть. И непременно – ехать.

Причём эта встреча с Чужим (а оно же ведь чужое! Оно же нам по определению не адресованное, непонятное и неудобное!) должна быть не трудом, не авантюрой, не, скажем, вызовом жизни и игрой со смертью, а именно отдыхом. То есть чем-то по определению комфортным и щадящим. Это мыслится как форма сбрасывания напряжения. Даже если ради этого надо много-много напрягаться.

Таким народным чаяниям рада служить (собственно, не она ли, родимая, их и культивирует?) целая индустрия, громадная, разветвлённая, занятая производством и продажей – так это, между прочим, на языке профессионалов и называется – «туристического продукта». Значков, маек с надписями, ручек и магнитов, чашек и тарелок, открыток, буклетов, путеводителей, экскурсионных маршрутов, отелей, обслуживания в них, развлечений, да мало ли ещё чего. По кусочкам распродают, да.

Туризм обзавёлся не только своей экономикой, но и своей этикой, эстетикой, своей литературой и архитектурой. Современная же западная цивилизация может похвастать увеличением своего антропологического разнообразия – она отрастила себе новый тип человека, по крайней мере – новый модус его существования: *homo turisticus*.

И экскурсоводов заодно сформировала: такую особую породу посредников между культурами. Необременяющих посредников. Развлекающих, не слишком проблематизирующих представляемую ими другую жизнь, подающих её в облегчённой версии, не пускающих, избави боже, в глубину. Турист не за тем приехал.

Она создала и новую разметку пространства: по миру проложены туристские тропы, по которым следует ходить, чтобы получить задуманное (организаторами) впечатление. Чужое пространство надо собирать, как пазл, из заданных элементов по заданным правилам.

А города и страны лежат себе на полках в Большом Супермаркете, в ярких упаковках, и ждут, пока будут выбраны для обозрения. Это их кормит, между прочим. Праге, кстати, очень помогает.

...И что, и что, – поднимает во мне голос внутренний категоричный подросток, – ради этого надо вот так распродавать себя? А туристы, а сами-то они? Ну что они могут таким образом увидеть? Не говоря уже о том, чтобы как следует почувствовать? Посмотрите налево, посмотрите направо... И что?!

А, например, вот что.

Туризм – вид работы с Другим и Чужим для тех, кто к такой работе (то есть – системе усилий) совсем никак не расположен. Туризм делает, если вдуматься, нечто совершенно парадоксальное: превращает эту работу – в отдых. Усилия – в расслабление.

Туризм – первичная форма адаптации Чужого для повседневного взгляда: без необходимости менять этот повседневный взгляд в его структурах, по существу. Он аккуратно укладывает Чужое в те структуры, которые и так уже есть. Это – Чужое милосердное, заботливое – и, главное, при этом совершенно к нам равнодушное. Это такое Чужое, которое не собирается меняться ради нас – и от нас не требует того же.

Оно позволяет нам оставаться самими собой без того, чтобы испытывать по этому поводу чувство вины, недостаточности или, напротив, превосходства. Туризм – это форма неучастия.

Но он – ещё и практика укрощения Своего перед лицом Чужого. Он – по самому своему замыслу – не вторжение, не насилие (даже если, скажем, туристы ведут себя развязно, орут песни на улицах и разбрасывают бутылки). Турист – не агрессор. Он вписан в заданные рамки. Он скользит себе по поверхности чужой жизни – и уж точно уедет назад. Он ни на что не претендует. Ему Чужое, как таковое, во всех его собственных смыслах, со всей его неудобной собственной жизнью – вовсе и не нужно.

Я бы даже сказала, что туризм – разновидность смирения. Посмотрите налево, посмотрите направо...

Туризм – та форма сосуществования с Чужим, в какой с ним в этом самом, не к ночи будь помянут, современном-глобализующемся мире только и можно, кажется, сосуществовать. Когда Чужого делается чересчур много, с ним – чтобы оно не оказалось разрушительным, чтобы вообще не забирало у человека на его освоение повышенного количества сил, которые явно пригодятся человеку для других целей – можно жить только в таком облегчённом режиме.

Да, это род слепоты, конечно. Но можно сказать и так: это – как тёмные очки, надетые, чтобы посмотреть на солнце. Без очков – без известной доли искажения, упрощения, редукции, слепоты – его уж точно не рассмотришь.

...Как это – что делать? Всё очень просто. Посмотрите налево. Потом посмотрите направо. В общем, на что вам показывают, на то и посмотрите. В конце концов, это тоже – возможность увидеть жизнь, отличную от собственной, сделать её фактом своего опыта. Хотя бы так.

И, главное, не отставайте от экскурсовода.

## ОРТОПЕДИЯ СМЫСЛА<sup>36</sup>

Маршрут каждый день – когда вообще куда-то выходишь – практически неизменный. Настолько, что по нему можно передвигаться едва ли не с закрытыми глазами, ориентируясь по запахам да по едва заметным вмятинам и выпуклостям в общем телесном чувстве. Из подъезда – направо, потом налево, потом через полтора двора, потом наискосок через рошу – и по прямой, к ритуальному кругу лотков и лавок у метро. Они там так давно, что каждый простодушно принимает себя за естественную часть структуры самого пространства.

Купить хлеба, молока, яблок, помидоров-огурцов, воды в бутылках. Вернуться тем же перемотанным назад маршрутом, прочувствовав по обыкновению каждую его зазубринку и шероховатость. Заварить чай. Положить мясо размораживаться. Вымыть посуду...

Нет, это понятно, что всё самое главное и живое делается за письменным столом. Но Боже мой, какие плотные, объёмные массивы повторения, формальных рутинизированных действий выросли на этом тоненьком стержне. Куда столько?

Идёшь на работу – там свои ритуалы, включающие сложно-сцепленную дорогу, длинный Павелецкий вокзал, громоздкие переходы, собирающие рассеянное внимание переходящего – да и всю его рассеянную жизнь – на манер паззла, свинчивающие его в причудливо-точную конструкцию. Лестница вниз, лестница вверх ...

В отрочестве ужасала мысль, что вот «вырасту и придётся делать каждый день одно и то же». Кошмар какой, да где же

<sup>36</sup> Опубликовано: Рабкор.ру: Интернет-журнал. = Суббота, 19 сентября 2009. - 10:29 = <http://www.rabkor.ru/authored/3886.html>.

после этого будет настоящая жизнь. Как эти взрослые живут? Живут ли они вообще?

(Конечно, нет, – спешил подсказать внутренний голос, – ведь живёшь только тогда, когда всё время растёшь и меняешься.)

Думалось: человек, конечно, начинает стареть тогда, когда начинает повторяться. Когда объём «повторений» начинает отчётливо превышать объём всего остального.

Тогда имелось в виду, конечно, прежде всего повторение на уровне мыслей и вообще внутренних событий, на уровне качества (да, пожалуй что, и количества) внутреннего движения. Но и не только: как же можно – думалось – не сгладиться, не стесаться, не изничтожиться совсем, когда изо дня в день тупо выполняешь одну и ту же последовательность внешних операций? А хоть бы и не тупо: всё равно, повторяешь ведь!

Ведь в состав и сущность так называемой повседневной жизни повторение как раз входит не просто неустранимым – образующим компонентом. И как только началось «сведение» нас к повторению – тут же началась и старость. Это как листья, вначале зелёные, рано или поздно желтеют да и облетают с веток, так и всё неповторяющееся в нас рано или поздно желтеет и облетает – с чёрной, жёсткой, устойчивой сетки повторений, на которой и держалось. Остаётся только она. И как только осталась она одна – вот уже и сама смерть.

Один из несомненных признаков взросления (оно может хоть всю жизнь продолжаться, да) – изменение отношений с повседневностью. Не просто в том смысле, что ею приходится как-то заниматься, потому что никто другой «всего этого» за нас не сделает. Нет, происходит кое-что поинтереснее: открытие её как полноценного и сложного смыслового мира – в котором, более того, всё главное как раз и происходит.

Оно там собирается и выращивается. Разворачивается.

События «критические», пиковые, чрезвычайные только дают толчок к этому, поставляют материал. Повседневность – смысловой желудок, в котором всё переваривается с извлечением и впитыванием жизненных соков – столь же незаметным, сколь тщательным. И повторяемость её структур (сугубо, кстати формальная: ибо всё, что делается больше одного раза, всякий раз делается по-разному. Формальная повторяемость – лучшая форма прироста опыта) – как раз то, что для правильного переваривания и глубокого усвоения нужнее всего.

Ничто так не освобождает, как повседневное, повторяющееся и рутинное. Чем больше повторяется – тем больше и освобождает. Тем больше оно, само собой воспроизводящееся, забирает на себя работы по обеспечению устойчивости – и можно всю внутренне жить тем, что ко всем этим обстоятельствам и подробностям не имеет ни малейшего отношения.

Оно образует поддерживающую нас сетку, чтобы мы в бездну не провалились – а то ведь мы это запросто. Она – простейшее упорядочивающее – оберегающее от хаоса – начало.

Изо дня в день повторяющиеся дороги собирают и держат в целости разлетающееся вещество жизни, приращивают друг к другу её разнородные и своевольные элементы.

Внутри тесно сплетённого повторениями кокона можно заниматься чем угодно. А им самим можно не заниматься вообще. Разве это – занятия: купить хлеба, заварить чай, протереть пыль, вымыть посуду?

Этими движениями мы никакой не «порядок» наводим (да о каком порядке вообще может быть речь, когда, как сказал классик, «только вымоешь посуду – глядь, уж новая лежит»? Кому как, а по моему разумению, это сама энтропия). Нет, мы уточняем и шлифуем самих себя – те самые стёкла, через которые можно рассматривать Главное. А через что ещё на Него смотреть?

Уборка квартиры, готовка еды – приведение веществ в новый порядок – совершенно полноценные способы прожить ту странную вещь, которую, не умея её определить точнее, называли «смыслом жизни». И это особенно ценно: не только умозрительно постичь (тем более, что с умозрительной формулировкой такой глобальной вещи, как «смысл жизни» – если избегать упрощений – есть большие трудности), но именно прожить его физически: приобщиться к предмету понимания всей полнотой собственного существа. Не так ли и происходит всякое настоящее понимание – «всем существом», а умозрительные построения – не только ли следствие этого, не результат ли (неизбежно огрубляющего) перевода на более-менее рациональный язык того, что происходит в полном объёме нашего существа?

Повседневность – ортопедия смысла. Терпеливое накопление, наращивание, проявление того, что приоткрывается нам в чрезвычайных событиях – на разломах бытия, когда наружу вдруг вываливаются, как кишки из вспоротого брюха, те потайные связи и механизмы, которым «в норме» надлежит быть скрытыми. Шлифовка того, что было в этих разломах добыто: грубого, горячего, дикого. Заботливое выпрямление его, изломанного катастрофой, которая вынесла его на свет.

Оно так дико и горячо, что не затем ли человек и отращивает себе повседневность в таком обескураживающем, казалось бы, избытке? – чтобы у Главного, Чрезвычайного были и время и пространство для остывания – и спокойного впитывания в жизнь.

В чрезвычайных событиях – в обнажённости структур бытия – есть что-то нескромное, бесстыдное, неприличное. Повседневность одевает Главное пёстрыми пустяковыми одеждами – и делает его переносимым.

Нет ничего более противоположного косности, чем повседневность. Косны, крикливы, навязчивы, агрессивны скорее уж Большие События. Она же исключительно чутка и пла-

стична – куда более, чем, скажем, Высокие Идеи: ведь именно ей предназначено всё (те же Высокие Идеи) адаптировать к человеку, вращивать их в человеческие структуры – обживать, делать своим. Именно повседневность с её ритуалами даёт человеку силы существовать внутри катастроф. Она – жизнь «с человеческим лицом», пласт бытия, примИряющий нас с миром и примЕряющий нас к нему.

Она – среда, позволяющая людям чувствовать друг друга. (Опять же не заставляющая – но лишь дающая возможность. Кто не воспользовался – она не виновата.) Она – Большое Чувствилище. Быт, традиционно-романтически прокливаемый юными людьми (что тоже нормально: надо оттолкнуться и взглянуть извне!) – просто идеальная – если его как следует использовать: ведь повседневность инструментальна! – совокупность щупалец, которыми мы можем протягивать другому кусочки бытия – нужного размера. Они хорошо приспособлены для дозировки. Прогреть – или остудить – бытие до нужной температуры. Быт – система тонкой настройки, «тюнинга» бытия (даже Бытия) под нас. Собственно, быт – это область диалога с Бытием: мы Ему – своё, Оно нам – своё, и всё это – на таком языке, который более-менее понимают оба участника.

Два основных режима жизни человека, не мыслимых друг без друга, влекущихся друг к другу: оберегание и разрушение. Первое в конечном счёте иллюзорно, совершенно очевидно обречено – и тем ценнее. Второе произойдёт и так. Можно даже не беспокоиться.

Повседневное существование – работа бытия. Даже так: его лаборатория, место его выработки и выделки. В нём, конечно, каждый из нас ответствен за само Бытие, за его качество и количество. Но повседневность милосердна – она позволяет нам рассеивать внимание по мелочам и не содрогаться перед неподъёмностью этой задачи. И стоит нам про её неподъёмность и огромность забыть – тут-то она как раз и начинает по-настоящему делаться.

Главное (оно же – Живое и Настоящее) всерьёз происходит тогда, когда происходит внутри, в глубине. Не вопреки повседневности, а как раз благодаря ей – под её толстой, греющей и защищающей шкурой: течёт и животворит, как кровь в большом и многосложном организме. Где же вы видывали кровь, бегущую просто так, без своих жил и костей, жировых прослоек, шелушащейся кожи? Если она помимо – это уже беда, дорогие мои.

Различие между (интенсивно) организованной и неорганизованной или неявно, слабо организованной жизнью сопоставимо с различием между стихами и прозой. Ведь зачем стиху ритмическая организованность? Затем, например, что она маркирует значимость сообщения, «весомость» высказывания, повышенную соотнесённость происходящего на этом участке речи с Существенным (что бы под этим последним ни понималось!). То же и с организованной жизнью: своими – более, чем у жизни не-организованной, напряжёнными – мускулами она вернее ловит Существенное и надёжнее его удерживает, чем жизнь расхлябанная, разболтанная, с пустотами.

Так что повседневность – это как раз стихи. А Чрезвычайное, ещё не ведающее своих ритмов – сплошная и непричёсанная проза. До стихов она дорастёт, когда превратится в повседневность.

Именно поэтому лучшее, что мы можем сделать для Чрезвычайного и Главного – это купить хлеба, молока, яблок, помидоров-огурцов, воды в бутылках. Заварить чай. Положить мясо размораживаться. Вымыть посуду.

## ПО БУКВАМ<sup>37</sup>

А всё-таки в жизни есть ни с чем не сравнимые радости, не отменяемые никакими биографическими и историческими обстоятельствами. Вот идёшь к метро и знаешь, всем телом чувствуешь: а в рюкзаке у меня – книжка. И сейчас мы с ней останемся один на один.

Тащишь в рюкзаке кусок свободы и безграничности, персональную кислородную подушку, личную машину времени-и-пространства, запасной, в твоё безраздельное пользование отданный мир. Уже на эскалаторе раскрываешь книгу, запускаешь себя в эту параллельную жизнь – и плывёшь в её горячем облаке, набираешь неисчерпаемый опыт человека-амфибии, двумерного существования. И глупо спрашивать, какой из этих миров более настоящий: понятно, что оба. И даже так: они настоящие только вместе, во взаимоприсутствии и взаимоотражении. Без книги никогда так остро не почувствуешь «внекнижного» мира, от которого – в неё – якобы уходишь. Чем больше уйдёшь – тем полнее чувствуешь. Книга – это такое универсальное чувствилище.

У читателя с текстом – заговор: против всего, что не входит в их отношения. Но что в них, собственно, не входит, если вмещается в них весь мир? Совершенно как в интенсивно прожитые отношения с человеком: весь мир, просто увиденный под некоторым единственным углом зрения и вмещённый в некоторую единственную, подробно и благодарно осязаемую форму. Этот шрифт, этот корешок в руке, эта шероховатость бумаги, её плотность, цвет и запах, её упругость под тонким жёстким грифелем делающего пометки карандаша (а как без этого? взаимодействию с текстом так хочется быть ак-

<sup>37</sup> Опубликовано: РабКор.ру: Интернет-журнал. - 24.10.2009 | 11:20 = <http://www.rabkor.ru/authored/4095.html>.

тивно-диалогичным!)... Текст требует чувственных отношений с ним, да. Даже самый умозрительный.

Именно – текст, который, как известно и как ни странно, почему-то шире книги. Мысль о том, что возможно интимное единение не только с бумажной книжкой в переплёте, обескураживает лишь на первых порах. За этим следует радостное открытие того, что, оказывается, электронная читалка способна создавать чувство такого единения и личного обладания ничуть не меньше книги, а даже и больше. Ведь по её обложке никто не догадается, что мы там на самом деле читаем. Мы можем поставить в ней – и задать вроде бы чужому изначально тексту – любой милый нашему глазу шрифт, придать ему собственный облик – а это уже почти как собственной рукой переписать (а что, была, была в юности такая разновидность интенсивного чтения: особенно любимое непременно надо – собственной рукой, чтобы вошло в систему движений,росло в физиологию).

Вот тут-то и подумаешь, что «чтение» – куда более широкая функция человека, чем обращение с книгами – а пожалуй что, даже и с текстами. То есть – с теми, которые из букв.

Мы можем проецировать эту способность на что угодно – работать этой техникой с разными материалами: с образами, с запахами, с городом, с небом, с лесом, с другим человеком... Это такая разновидность восприятия: рассекающая предмет, не теряя его цельности, на знаки – которые, в свою очередь, отсылают к реальности более глубокой и более далёкой. Так, собственно, и поступают значочки на книжных страницах и электронных экранах, известные нам под именем букв.

Буква – не универсальный ли это образ элемента мироздания? Архетип, если угодно.

Книги, конечно, некоторым особенным образом культивировали – и продолжают культивировать – эту способность на протяжении нескольких культурных эпох европейской истории. Но даже если книга – как нам давно уже обещают – од-

нажды уйдёт с исторической сцены, чтение непременно изыщет себе другие носители.

А типы культур, может быть, различаются ещё и по тому, какой из видов чтения в каждой из них доминирует. Когда-нибудь это должно быть осмыслено.

Тем, что книга исчезнет, а люди перестанут читать (и вследствие того, разумеется, одичают и упростятся, утратят внутреннюю самостоятельность и критическое отношение к реальности), нас пугают уже не первое десятилетие. В пользу этого даже находится масса аргументов: ну да, вместо чтения смотрят кино, вместо серьёзных текстов читают ерунду, не знают классики, перестали видеть в работе с книгой центральную и человекообразующую культурную деятельность, гипертекст пожирает текст, автор умер, читатель последовал за ним... Но что, если чтение всего лишь очередной раз меняет облик?

Человек – он вообще, по определению, *homo legens*: человек читающий. Он таким образом структурирует свой мир. Особенно человек письменных культур – впрочем, разве кто-нибудь, когда-нибудь создал бы какую-то письменность вообще, не будь в человеке этой «читающей» установки внимания?

Рискну сказать: чтение – это антропологическая константа. То есть: устойчивое человеческое свойство, присущее – хотя бы как возможность – всем принадлежащим к виду *homo sapiens*.

То, что чтение буквенных (ну или, скажем, иероглифических) текстов стало восприниматься как привилегированная и даже чуть ли не единственная форма чтения – в сущности, историческая случайность. Положи мы в основу собственной жизни – и разработай до сколько-нибудь сопоставимого совершенства – чтение, скажем, совокупности явных и неявных сигналов, исходящих от человека и природных объектов – мы имели бы другую цивилизацию.

Что до письма, то – не разновидность ли оно чтения? Просто оно – чтение собственной рукой. И – того, чего до нас ещё никто не написал. Но собирает мир оно точно так же: по буквам.

Письмо – это продолжение чтения «другими средствами», притом продолжение усиленное: не затем (в первую очередь) стоит писать, чтобы сообщить что-то городу и миру, особенно при том, что понаписано уже слишком много всего, но затем, чтобы лучше усвоить читаемое (в общем-то и проживаемое; впрочем, разве проживание мира не есть его прочитывание?), чтобы собрать его в себе в цельность, нащупать в себе центр, вокруг которого оно может быть структурировано и пронизано общим смыслом. О собственно прочитанном – и из него – в наших писаниях при этом может не быть решительно ни единого слова: оно присутствует в нас при этом неявно, определяя темы и угол зрения на них.

В общем, понятно, что это всё – типичная аутопластика (изменение себя) и, в конечном счёте, старый добрый аутопойсис (самodelание, изготовление себя). В первую очередь это, конечно же, относится к писанию книг – но, думаю, и ко всякому писанию вообще, даже если это запись о том, что мы сегодня делали и чего не сделали. Просто в случае книг «структурная принудительность» сильнее.

А всякие культурные и, страшно подумать, общезначимые смыслы – это побочный продукт.

Чтение вообще (в том числе и такое, когда оно – письмо) – это способ работы с двумя коренными разновидностями бытия: с чужим и своим, проведения границы между ними, смещения этой границы, превращения одного – в другое.

Чтение – вещь магическая. Мне, например, и по сию секунду странно, почему оно, столь явно родственное бессмертию (проживание многих времён и жизней внутри собственной – разве это не форма бессмертия?), не прибавляет человеку жизни прямо физически – почему нельзя «начитать» себе ну

если и не струльдбружеское бессмертие, то хотя бы просто дополнительное время бытия – которое постоянно прибывало бы, пока педали крутишь, то есть читаешь. Легко воображаю себе мир, в котором это было бы возможно: где чтение работало бы генератором времени. Почему нет, если оно уже умеет быть генератором внутренних пространств?

Чтение, конечно – разновидность самоутверждения. В некотором смысле даже – торжества над реальностью, подминания её под себя (да какая разница, насколько иллюзорного, - главное, что соответствующее чувство у нас есть!). Если мы переживаем что бы то ни было как чужое, чуждое, недоступное, не вмещающееся в нас, - самое верное – прочитав об этом: и таким образом – прожить его изнутри, интериоризировать, присвоить, сделать частью себя. Даже – создать его самостоятельно, из собственного внутреннего материала: ведь прочитанное – в отличие, скажем, от показанного нам в кино - мы видим так, как это свойственно только нам.

Эдак недолго и утратить чувствительность к разнице и дистанции между своим и чужим – и уважение к ней.

Так что, знаете ли, вообще я бы это самое чтение не слишком идеализировала. У него есть и тёмные стороны (а вот именно потому, что оно – коренная человеческая деятельность и, значит, проецирует на себя всего человека, а не только его светлый и конструктивный разум).

Например, потому, что многочитающий – несомненный агрессор. Пожирание книг – экспансия, разрастание (в идеале – неконтролируемое и беспредельное, – уж не патологическое ли?) области «своего».

Другая его теневая сторона – это, конечно же, страх перед неосвоенным, неприсвоенным, неподконтрольным миром, от которого не знаешь, чего ждать. Когда запихиваешь это неосвоенное в себя глазами через буковки – тем самым, даже если сопротивляешься, – уже потихоньку обзаводишься успокои-

тельной иллюзией, что это – «своё» – и, в качестве «своего», разумеется, не обидит, не подставит, не предаст, не уязвит.

Вот тут-то и окажешься – уязвимее некуда. Тут-то оно тебя тёпленьким и возьмёт.

Любое кино, любая живопись, даже любая музыка действуют на нас извне – потому что разворачиваются как события прежде всего во внешнем мире. А в чтении буквы – только повод, только начало. Всё самое главное происходит внутри – и нашими же собственными силами. Оно проникает нам в самую сердцевину.

А представляете, что начнётся, когда человечество, изведя все леса на бумагу и отчаявшись угнаться за всё быстрее и быстрее сменяющимися друг друга поколениями всё более навороченных электронных читалок, изобретёт наконец способ загрузки читаемых текстов прямо в мозг, минуя всяческие материалы-посредники и изготавливая смыслы этих текстов прямо-таки целиком из материала заказчика? Вот куда мы тогда денемся? Вот будем тогда оплакивать прекрасную эпоху, когда люди были свободны, потому что вместо чтения смотрели комиксы и играли в компьютерные игры!

Но чего стоят все эти воображаемые перспективы и невообразимые ужасы в сравнении с тем сочно-осязаемым, прекрасно-неотменимым фактом, что вот идёшь к метро – а в рюкзаке у тебя книжка? И сейчас ты с ней – на всю долгую-долгую дорогу – останешься один на один!

## РАБОТА РАССТАВАНИЯ<sup>38</sup>

Чёрный ноябрь, обнажение мира до корней. Вростание его, лишённого листьев и снега, всех суетных самообманов весны, лета и осени – в свою последнюю правду.

Каждая последующая осень невыносимее предыдущей, потому что вбирает в себя и предыдущую, и все те, что ей предшествовали: в каждой нашей осени есть все осени, прожитые нами, и каждый раз – на одну больше. Рано или поздно эта насыщенность становится уже просто нестерпимой. Она обретает крепость йода, прожигает насквозь. Не спасает даже то, о чём хочется думать как о «возрастном притушении чувств», оно же – всё более качественная отработка и наладка защитных механизмов: на самом деле никакого возрастного притушения чувств нет в помине, а защитные механизмы совсем не так отработаны и налажены, как хотят казаться. Защитные оболочки у человека на самом деле очень – и по определению – хрупкие, а самое существо человека – уязвимость и незащищённость.

Осень добирается до самой мягкой сердцевины. Лету всё равно, оно слепое, поверхностное – а осень всё видит, осень добирается. Осень – разлитая в природе, даже болезненно-обострённая зрячьсть. Чем дальше, тем больше каждая подтверждает нам собственное наше убывание, вработывает нас в реальность возраста.

Возраст, второе имя смерти. Даже почти не эвфемизм.

Возраст – это катастрофа, которая всегда с нами. Это домашняя, ручная беда; повседневный учёт наших отношений со смертью, обыденный график их развития.

<sup>38</sup> Опубликовано: РабКор.ру: Интернет-журнал. - 06.11.2009 | 09:28 = <http://www.rabkor.ru/authored/4174.html#>.

Подумаешь: возраст что-то делает с человеком уже сам собой, простым своим прибыванием, независимо даже от того, прикладывает ли человек какие-то усилия к себе и к миру. Ну, будем справедливы: какие-то – неминуемо прикладывает. Просто не факт, что их целью всегда и непременно будет формирование себя, да ещё по осознанному проекту. Гораздо чаще – вещи куда более преходящие. Даже суетные.

Возраст всё равно уложит всё происходящее в проект. Не в наш – в свой собственный.

«Молодость»: распахнутость, незавершённость – и принципиальная незавершимость, и вечная её спутница – уязвимость, и потенциальная обречённость на поражение на каждом следующем шаге. И тут же – интерес к пустякам, к яркой мишуре жизни просто уже за цвет и яркость, к игре с миром, и чувство одновременно и условности и смертельности этой игры, и своей перед миром малости, и его – нам, тем не менее, несомненной адресованности и предназначенности.

Может быть, молодость – некая самостоятельная сила в нас, вполне цельная, лишь с известной долей условности разложимая на элементы. Она в нас действует, формируя (даже – вынуждая к существованию) побуждения, влечения, тревоги, выборы; она возникает, набирает мощь, властвует – и потом так же в свой срок идёт на спад. А в это время внутри её, взаимодействуя с её труднорасцепимыми элементами, перегруппируя их по-своему, зарождается новая, следующая сила – она в свою очередь будет властвовать нами как внутренняя данность и с нею как с таковой тоже придётся считаться. Это она поднимает «валяющиеся на дороге» смыслы и задаёт им направление движения и характер соединений друг с другом.

Но разве не то же делают – детство, зрелость, старость?

Конечно, тут многое связано даже не с социальным возрастом (который – история отдельная и весьма сложная, я бы сказала даже, «мозаичная»), а с самым «простым» – в той мере, в какой в человеке вообще что-то способно быть простым:

– с биологическим. Весь этот гормональный фон сильно влияет на динамику смыслов, не то чтобы лишая её самостоятельности, но очень во многом задавая ей направление - и задачи для той, явно неизменной, «точки самонаблюдения», у которой отчётливо нет ни пола, ни возраста, ни социальных и прочих принадлежностей и координат. Всё это внешне по отношению к ней, она отделяет себя от этого легко – и стоит над всей этой динамикой в качестве неподвижной звезды, и собирает её в цельность.

А в цельности с границами, между прочим, большие проблемы.

Что, если «детство», «юность», «молодость», «зрелость» и «старость» – всего лишь разные модусы отношений с собой и с миром?

В принципе каждый из них может случиться с нами когда угодно. Да и случаются. Вот сейчас, каждую минуту.

Может быть, «молодость» и «старость» – в некотором смысле такие же условности, как «север» и «юг». Как определишь, где «кончается» север и «начинается» юг? Так и старость с молодостью: они обе – друг у друга внутри, между ними нет границы. Старость начинается в глубине – не молодости даже, а детства, может быть, и младенчества: у младенцев бывают старческие лица и мудрые, как будто очень много видевшие, глаза. И в глубине старости мы наверняка, дожить бы только, обнаружим самую незащищённую молодость, в самой изумлённой растерянности от того, что жизнь только-только начинается. А что ей при этом приходится ещё и заканчиваться – так это уж так совпало.

В нас не просто сосуществуют – одновременно – разные наши возрасты, включая и ещё не прожитые. Они в нас ещё и взаимодействуют, обмениваются элементами, и каждое наше «актуальное» состояние определяется их текущим соотношением – иной раз просто сиюминутным.

Так в сорокалетнем, посередине странствия земного, происходит – нет, не борьба, тут объёмнее: интенсивное и небесконфликтное взаимодействие по меньшей мере двух начал: открытости и завершённости. То одна из них берёт верх, то другая, но абсолютно не торжествует, кажется, ни одна. (И как не увидеть в этом несомненного торжества незавершённости?)

Каждый возраст (в своём идеальном, конечно, замысле, которому ни один из живых возрастов, пожалуй, никогда не подчинится) – своего рода аскеза. Он – упражнение в определённых смыслах и возможностях, разработка их, культивирование – и воздержание от других, другим возрастам принадлежащих, смыслов и возможностей. Не потому ли такими смешными, когда не прямо раздражающими, принято чувствовать старообразных молодых, молодящихся стариков, инфантильных взрослых? Возраст – программа, которую «надо» выполнять. Не выполнил – сам и виноват. Культурный прессинг, конечно.

Но ведь никакого прессинга никакая культура без оснований тоже не заводит.

А что, если смысл человека, на самом-то деле – в не-универсальности? «Универсальность» ведь – аморфна. Форма – (продуктивное) напряжение ограничения. Каждый возраст – освоение своего набора ограничений, – что ничуть не противоречит освоению своего набора свобод. И даже очень взаимосвязано с этим.

Это действительно – культурная программа. И даже экзистенциальная.

Один из ясных симптомов «зрелости» – понятой безоценочно, просто как некое качественно новое, по сравнению с той же молодостью, состояние, – ослабление бритвенно-острого некогда (аж слишком!) чувства «своего» и «чужого».

Первая стадия вхождения в «зрелость» (когда бы та нас ни застала: хоть в двенадцать лет, хоть в сорок, а хоть бы, может быть, и в шестьдесят!) – не понимание ли того, что и «чужое» нам не чуждо, что и оно имеет к нам некоторое отношение?

Это всё чувства, однако, первой половины жизни: наработки и освоения проникнутости миром. Чувства начала. А вот приметы второй её половины – разотождествление со «своим», дистанцирование от «своего» – того, что таковым чувствовалось, пусть даже очень убедительно. Формирование того странного (пока?) чувства, что принятое и пережитое в качестве «своего» (даже: яростно-своего, ревностно-своего) в некотором глубоком своём корне тоже не имеет к нам отношения. Что и оно не обещает нам безусловной принадлежности – и не требует её от нас.

Мир не для нас. Он легко нас отпустит.

Да, возраст освобождает. Правда – той самой свободой, которая родственна смерти и именно в ней получает своё самое полное осуществление. Мы будем совсем свободны, когда нас не станет, и чем нас меньше, тем мы ближе к этому состоянию. Истончаются перегородки между нами и миром, чем дальше, тем меньше застилают нам горизонт. Что было в молодости плотным – становится всё более прозрачным.

И это при том, что в молодости отчаяннее всего, жарче всего хочется – слиться с миром, стать им - при главенстве в этом соединении, конечно, себя, а никакого не мира. Себя увеличить за счёт мира, превратить множественное, чужое «не-Я» в своё огромное «Я», сделать вот это всё формами собственной бесконечной, неисчерпаемой личности. Прочувствовать каждую из форм как личную душевную и телесную реальность. Стать утренним солнцем. Стать булыжной мостовой, влажной после дождя. Стать тающим снегом. Проходящим мимо поездом. Случайной музыкой в подземном переходе. Жизнью каждого из людей, кто хоть как-то – хоть в воображении – заде-нет.

Да одно только желание такого – уже настоящее счастье. (Потому и счастье, понятное дело, что не исполняется!)

А слияние с миром всё ближе и ближе. Только «Я» в нём всё меньше, а «не-Я» – всё больше. И освобождает именно это.

В этом есть что-то от сбрасывания груза.

Жаль, конечно, молодой жаркой жажды мира. Но, по всей вероятности, и это пройдёт – и жажда мира станет так же мало понятна, если не смешна, во всяком случае – чужда, – какой мнится сегодня детская игра в песочнице. Как ведь когда-то нравилось! Как захватывало! А сейчас, ну надо же, не возбуждает никаких внутренних движений, хотя песок – тот же самый, и лепится так же прекрасно, когда влажный. Нет: даже помнится едва-едва. То же будет и с жаждой мира.

Убывая, человек перерастает свою уходящую жизнь. И вместе с ней – как часть её – сожаление об уходящем.

Нас сжигает светлый огонь убывания.

Возраст – нарастание внутренней тишины, в которой всё лучше можно расслышать мир.

Это постепенное привыкание к миру-без-нас. Вростание в своё будущее отсутствие.

Конечно, возраст – это проникновение смерти в нас: в го-меопатических дозах. Таких микроскопических, что их проникновение даже кажется жизнью. Да, скорее всего, ею и является.

Простое, «механическое» набиравание возраста и проживание (буквально про-живание насквозь: вошёл – и вышел) разных ситуаций (говоря ещё грубее – тот пребанальный факт, что «всё проходит») даёт неоценимый, незаменимый опыт выхода за собственные пределы и смотрения со стороны на «себя» и «своё».

Возраст – самый простой способ быть другим, даже самый дешёвый, общедоступный. Не оплаченный практически ни-

чем – кроме разве что такой малости, как собственная смертность.

Он – открытие. И притом непрерывное. Это – то, новизной и неосвоенностью чего мы обеспечены по гроб жизни. Каждый шаг здесь – в неизведанное. Может быть, в пустоту.

Он – непрерывный опыт разлуки: с обжитым вариантом самого себя. Он – работа расставания. И новых встреч и сращиваний – единственно затем, чтобы расстаться снова.

Возраст – опыт жизни после смерти.

Мы умираем много раз. Мы многократно тренируемся, упражняемся в умирании: в отделении от себя. Так, что когда, в конце концов, придётся умирать окончательно – есть шанс умереть хоть сколько-то подготовленными. Во всяком случае, есть шанс, что это, по крайней мере, застанет нас не совсем врасплох.

Очень возможно. Да только как быть с тем, что вот этого всего, уходящего и оставляемого, такого родственного нам в обречённости и смертности – отчаянно и пронзительно жаль?

А, например, вот как, – думала я как-то после бездарно прожитого дня, застрявши в мёрзлой маршрутке на беспросветно забитом Волоколамском шоссе, – это молодые, у которых, по крайней мере теоретически, куча времени до смерти, могут позволить себе роскошь ворчать и быть недовольными жизнью, пускать громадные её куски в отвал, объявлять их прошедшими впустую. А тут, когда овевает холодок близкого небытия, настало время другой роскоши.

Наше дело – ценить это всё уже за то, только и единственно за то, что оно есть. Смаковать каждую фигню и благодарить за неё. Время дурацкой роскоши сентиментальничать и идеализировать всё, потому что драгоценна сама – ускользающая ежесекундно – материя жизни.

Узнай я в критичной молодости, что буду эдакое думать – неминуемыми реакциями стали бы стыд, раздражение, даже

гнев на такое «снижение». Но это же и понятно. Молодость – она ведь тоже ничуть не заблуждается в своей категоричности. У неё просто другие задачи. Распускай молодой человек сентиментальные слюни по поводу каждой мелочи, откажись он от беспощадных оценок, от веры в оправданность жёстких проектов как типа жизни – ничего бы из него и не вышло, никуда бы он (и социум с ним вместе) ни шагу не двинулся. А вот нам теперь можно!

## УРОКИ НЕБЫТИЯ<sup>39</sup>

У января металлический привкус беды.

Это он – самый горький из месяцев года, а вовсе не ноябрь, за которым обещается всё-таки сладкий, густой и плотный декабрь с рождественско-новогодними золотистыми радостями – пусть самообманными, какая разница, главное, что радостями. Январь – месяц пустынный, жёсткий: он, покинутый праздниками – месяц прощания, утраты, опустошения. Месяц пронизывающих сквозняков большого, необжитого, не заставленного событиями, голого и гулкового от пустоты года. Он ошпаривает нас крутым кипятком холода, чтобы лишнее слезло. Так, что и необходимое иной раз слезает.

Январь – самый, до беспощадности, честный из месяцев.

Он представляется огромным залом с неоштукатуренными цементными стенами, с пасмурным холодным светом из незастеклённых окон. Он – вроде бы Дом, но такой, который всем своим существом – Бездомье.

В январе все мы сироты: нас покинул Большой Старый Год, с которым мы сроднились и срослись до мелочей, который мы разгородили на множество дней и надышали их своим теплом. Новый год – это же, в сущности, катастрофа: все перегородки рухнули. Теперь всё – заново. И ещё неизвестно, как удастся.

О, это ежегодное упражнение в пластичности, регулярное испытание небытием.

А ведь как хорошо всё начиналось!

<sup>39</sup> Опубликовано: РабКор.ру: Интернет-журнал. - 31.12.2009 | 09:50  
= <http://www.rabkor.ru/authored/4595.html>.

Бегали по магазинам, закупали подарки, стараясь угадать, кому что понравится. Резали салаты, запекали мясо. Украшали ёлку (ту самую, бедную, которую самое большее через месяц, мёртвую и тёмную, поволочём на помойку). И главное, самое смешное, самое дикое – опять, опять ждали волшебства, чудесного преображения мира и нас самих, которое обязательно случится в новогоднюю ночь. Разве не это обещала нам всеми блёстками, всей сияющей мишурой, шариками и еловыми веточками, свечками и звёздочками вся громадная индустрия новогодних обещаний, наращивания новогоднего настроения, даже – новогоднего зуда, заполнившая витрины магазинов, телевидение, радио, интернет, всё, что угодно? Разве не нам снова, по-детски, хотелось этому поверить?

А потом пробили куранты двенадцать раз – и... всё. И ничего.

И ничего не изменилось – осталось и мясо, и салаты, и ёлка с лампочками, да только нет больше того напряжённого, до предела взвинченного ожидания, которое ещё минуту назад придавало всему этому смысл. Ночь наливается тяжестью, усталостью, пустотой. Посидим ещё немного да спать пойдём.

И так – каждый год, Боже мой.

Всей этой январской горечи, пожалуй, и не было бы, не разгори человек времени на три вида ячеек: будни, выходные и совсем особенные дни – праздники. Если в первые из них «положено» работать, во вторые – отдыхать, то в третьи нечто уж вовсе немыслимое: не просто отдыхать, но ещё и обязательно радоваться и хуже того – веселиться. Даже если тебе невесело, хм, хм. (Да как же так – в праздник не радоваться? Это же будет означать, что праздник не удался!)

И вот чего точно нельзя сказать, так это того, что такое деление – надумано, что оно – всего лишь условность. Дело в том, что деление на «будни» и «праздники» – совершенно независимо от того, какие содержания связывались с этим по-

следним – знали решительно все человеческие общества всех эпох.

Более того, есть веские основания подозревать, что праздник – старше человека. Предпосылки древнейшего праздника исследователи усматривают даже в некоторых массовых ритуалах обезьяньих сообществ. Его не «вводили», не придумывали: он был всегда.

А что же тогда такое – праздник, если его в некоторых предварительных формах знали даже обезьяны, уж наверняка не озабоченные никакими смыслами?

Если совсем коротко, то он – особое, отличное от «обыкновенного» состояние, которое достигается ритуальными – то есть выстроенными по правилам – действиями. Это особая форма распределения напряжения: его концентрации и разрядки.

Один признак праздника, общий всем временам и народам, мы, кажется, всё-таки можем выделить. Это – ограничения или даже жёсткие запреты, которые накладывались на обычные, «будничные» виды деятельности. Прежде всего – на работу.

Это – такой день, который надо было оставлять пустым: об этой стороне праздника проговаривается его русское название, восходящее к славянскому корню *празднѣ* – незанятый, пустой. А о другой стороне, в русском слове не отражённой (но в русских интуициях тоже благополучно присутствующей) расскажут нам корни слов из других языков, вот хотя бы английского: *holýday* – священный день. Совершенно такое же выражение было и в нашем языке: *Божьи дни*.

Люди традиционных обществ освобождали такие дни не только, да по существу и не столько для того, чтобы «отдыхать» – не говоря уж о том, что праздники прежних времён требовали иной раз куда больше усилий и напряжения и куда больше были регламентированы, чем так называемая обыч-

ная жизнь. Они освобождали это пространство для того, чтобы в него вошло нечто очень важное, что в повседневную жизнь с её суетой и заботами обычно не входит или едва просачивается. Это можно назвать Священным: той силой – или теми силами – которая лежит в основе мира.

То, что в праздник «надо» (или «можно») радоваться – именно поэтому совсем не принадлежит к числу его главных, образующих признаков. Вспомним иудейский Йом Кипур, по статусу – несомненный праздник, по настроению – серьёзнее некуда, более того: это время горького покаяния и экзистенциального страха. Вспомним и христианское Благовещение, когда – исторически совсем ещё недавно! – православным в России, на Украине, в Белоруссии запрещалась не только работа как таковая, но и любые формы досуга и веселья, которые мы сегодня, не сомневаясь, назвали бы «праздничными»: и гуляния, и хождение в гости, и громкое пение, и веселье... Благовещения – совершенно вопреки его христианским смыслам – попросту боялись. «В этот день, – говорили на русском Севере, – овец не стригут, первый день на работу не выходят, коров не выпускают...» «Он [праздник] такой, – вторили русским северянам их украинские братья по вере, – что может наказать; на него нельзя работать». Вообще, чем меньше дел затевать в Благовещение, тем лучше – даже общаться друг с другом поменьше: оно считалось днем несчастий и ссор.

А всё почему? Чем значимее праздник, тем ближе присутствие сил, намного превосходящих человека и, как тот ни старайся, в конечном счёте не подвластных его пониманию и контролю. Кто знает, как они себя поведут?

Вот даже и теперь на христианскую Пасху нет-нет да и дрогнет даже не слишком верующее сердце: а вдруг благодатный огонь на сей раз возьмёт да и не сойдёт? И что тогда будет? Конец мира?

Да что Пасха, которая всё-таки отсылает к Священному! Даже Новый год, когда всего-то меняется календарь и никто уже не думает ни о каком священном и который в исторических масштабах не так уж давно празднуется в знакомых нам формах - оброс просто немислимым количеством суеверий и, скажем попросту, страхов. Кому не знакомы старые добрые представления о том, что «как встретишь Новый год, так его и проведёшь»? Кому неведомо связанное с этим множество предписаний, которые люди искренне стараются выполнять, как будто и впрямь верят, что они действительны? «От этой ночи, – читаем мы, наугад раскрывши сайт со сценариями новогодних праздников, – если верить приметам, зависит то, как пройдет весь предстоящий год (! – О.Б.): в веселье или скуке, в богатстве или бедности, в обществе близких и любимых людей или в одиночестве». Сделаешь что-нибудь не так (хоть салат оливье не поставишь на стол, ёлку не нарядишь или, не приведи Господи, не успеешь загадать желание до последнего удара курантов) – ведь нарушишь же порядок бытия! По меньшей мере – своего собственного. Но как знать: может быть, и самого мироздания. Поэтому лучше уж сценарий составить да и придерживаться его. Это защищает.

Человек изобрёл праздник или праздник изобрёл человека? Скорее всего, они вместе потрудились друг над другом.

Ужас перед хаосом, раскрывающимся в разрыве времён, человек во все времена преодолевал весельем – тем самым, которое теперь кажется нам самой существенной чертой праздника. Он дерзил враждебным разрушительным силам, бросал им вызов. Мы, веселясь за своими новогодними столами и не думая ни о каком хаосе – делаем точно то же самое: недаром нам так неуютно, когда мы почему-либо этого не делаем.

И ещё одно, важное: в празднике нельзя оставаться. Его смысл ещё и в том, что он непременно должен закончиться.

Кстати говоря, в архаических обществах – очень многое знавших о власти праздника над человеком – существовали

(и по сей день существуют) специальные ритуалы вывода человека из праздника.

Так, пишет армянский исследователь праздничной культуры Левон Абрамян, у австралийских аборигенов во многих обрядах, составляющих большие праздничные циклы — есть особая символическая концовка. У племени варрамуногов в Центральной Австралии конец церемонии в честь мифического змея Воллунква знаменуется тем, что с головы исполнителей ритуала резко сбивают ритуальные головные уборы, которые символизируют змея. Люди выбиваются из праздника — возвращаются из особого состояния в повседневность.

Но что делать теперь нам — не встроенным, по существу, ни в одну из традиций? Я имею в виду — действительно Больших, Серьёзных Традиций, искренне принимающих себя за структуры самого мироздания? Что делать нам, не умеющим верить ни во что, кроме золотой предновогодней мишуры?

А у нас — собственные задачи. По всей вероятности, не знакомые людям традиционных обществ, но от того не менее настоящие и насыщенные.

Да, Новый Год, некогда сакральный праздник обновления структур изветшавшего мироздания, едва ли не творения мира заново, страшный демиургический праздник, в щели которого заглядывали силы первородного хаоса, стал просто праздником Смены Календаря. Но он потому и освобождает нас, что не привязывает себя ни к каким сакральным значениям. Это ведь только Сакральное требует напряжения, внимания, ответственности, внутренней дисциплины — хотя бы и праздничной. А лёгкий пустяк — смена цифирки в номере года — не требует от человека ничего. Можно освободиться от условностей — эта условность для того и задумана. Можно валять дурака, заниматься ерундой, смотреть телевизор с утра до ночи. А что: для человеческой полноты необходимо и это.

Да и сам год, уходя, освобождает нас от себя. Собственно, всё утраченное — чем бы оно ни было — именно это и делает: учит

нас свободе. Просто даёт нам её, не спрашивая – готовы ли, хотим ли (ещё чего: хотим-не хотим! – разве свобода – не обязанность человека?), бросает нас в неё, как щенят – грех не научиться плавать, когда есть такая возможность!

Чудо ведь, кстати, тоже свободно: оно случается, когда захочет. Люди ему расставляют силки в виде праздника и соблюдения всяческих правил, а оно – всё равно когда захочет: да где же эдакое видано, чтобы чудо – по правилам?!

Не лучше ли оставаться открытыми ему? А Новый год нам всего лишь об этом напоминает.

Чудо требует некоторой беззащитности. Даже, пожалуй – очень большой. (Это прекрасно чувствовали люди традиционных культур, соблюдавшие жёсткий запрет на работу и будничные усилия в праздники, сознательно оставлявшие праздничное время пустым – освобождая его для чуда.) Ещё и поэтому надо испустать иногда из защищающих условностей. Потому-то праздник так, в глубине своей, и страшен. Потому-то и хочется так иной раз ему противиться.

Да, от условностей если того же Нового Года (заведомо условных и фиктивных, часто смешных и наивных) с его ёлками, блёстками, мишурой и верой в «исполнение желаний», иной раз очень хочется избавиться. Но убери их – и человек окажется лицом к лицу с пустотой. Ритуалы ведь (у нас, людей посттрадиционных культур) всегда фиктивны и условны, но они нужны – именно в этом своём качестве – для того, чтобы с их помощью, как с помощью оптического устройства, разглядеть нечто Большое, на Котором наш глаз без них не фокусируется. Главное – не отождествлять стрелку-указатель с той целью, на которую она указывает. Какая разница, из чего сделана стрелка? Главное, что без неё нам не найти дорогу.

Не в том ли и прелесть праздника Нового года, не в том ли и смысл его, что он привязан к такому заведомо условному пустяку, как смена календаря? – чтобы ясно было, что дело здесь не в поводе. Смысл его – в радости без причины. Свободной

от всего, даже от памяти о сакральных корнях, ещё хранимой в себе Рождеством, у которого Новый год наперенимал провоцирующей радость символики. Сакральные корни, пусть почти совсем уже забытые, всё-таки как-то поддерживают. А тут – радость чистая и упрямая, вопреки прозрачной очевидности того, что в следующем году неминуемо будут труды, неудачи и разочарования, и с великой вероятностью хоть что-нибудь из того, что сейчас с нами, будет у нас отнято. Все прекрасно это знают – и тем не менее радость смеётся в лицо этому знанию и утверждает себя как самостоятельная, самоценная и самовластная сила. «Мужество быть» в чистом виде.

А ещё праздник, окончившись, учит великодушью – неотделимому от силы и свободы.

Не лучше ли, в самом деле, не тираня новонаступивший год ожиданиями, просто впустить его и позволить ему быть таким, каким ему хочется и свойственно? Если чему и учит нас ежегодный обрыв ожиданий, чернота и растерянность раннего января, – то не терпеливое ли это доверие к бытию? Не всегда принимающее – тут есть что не принимать, – но во всяком случае позволяющее бытию раскрыться.

Год в своём начале лежит белый-белый – пугающе-чистый лист плотной бумаги. Начало года, совпадая с концом праздника, располагает к молчанию и умолчанию, тишине и пустоте (пустота – такая странная штука, в которой имеет обыкновение проступать полнота, не стеснённая заданностями). Пусть оно будет пробелом: молчаливым вступлением к году.

Посмотрим, что за письма проступят на этой чистой бумаге – прежде чем мы покроем её собственными торопливыми каракулями.

А чудеса всё-таки будут. По крайней мере, по двум неустрашимым причинам: по неисследимости причин и корней происходящего с нами – и потому, что мы обречены меняться. В том числе, разумеется, непредсказуемо.

Ну да, вряд ли они случатся с нами новогодней ночью. Но и слава Богу – в одну ночь всем чудесам всё равно не уместиться. Пусть у них будет пространство развернуться. Размером во всю жизнь, например.

А ещё здорово, что на самом деле ничто никуда не уходит и нет никакого перехода, никакого перерыва времён. Самое счастливое в первоянварской черноте – обнаруживать вокруг себя всё ту же, большую и золотистую, неотменимую жизнь. Это важнее праздника ожидания, который люди зачем-то устраивают себе каждое 31-е декабря. Это – праздник возвращения.

# Homo Scribens

## НОМО SCRIBENS

### Культурный смысл каллиграфии: заметки к теме<sup>40</sup>

Известно, что графическая сторона письма – почерки-стили и индивидуальные почерки – отражает многое из происходящего в культуре и может поэтому служить источником весьма разнообразной информации – от исторической до психологической. Различные авторы с разных точек зрения не раз делали попытки выявления и описания закономерностей симптоматичности почерковой графики для культуры (и включённой в неё личности). Основными плодами таких попыток в европейской культуре явились, в конце концов, научные дисциплины: палеография (рассматривающая прежде всего эволюцию стилистических явлений в почерках), криминалистическое почерковедение (занятое по преимуществу установлением идентичности исполнителя текста и, следовательно, главным образом физиологическими механизмами графической индивидуальности) – а также и весьма неоднозначная область представлений и опыта, получившая в XIX веке название графологии, пытающаяся заключать от почерка непосредственно к личности, достижения которой отчасти были ассимилированы (кроме криминалистики) традиционной психологией. При всём этом тема во всей полноте своих аспектов остаётся достаточно неисчерпанной. Мы попробуем здесь наметить некоторые возможные подходы к осмыслению одного из аспектов этой темы, сосредоточив внимание на смыслах – культурных, а через это, неизбежно, и психологических – систематического воплощения стиля в почерковой графике, каковым является каллиграфия.

<sup>40</sup> Это – одна из неопубликованных (зато хотя бы законченных!) частей большой – и лишь частично состоявшейся – работы «Номо Scribens», посвящённой *антропологии письма* или *культурологии почерковой графики*. Другие части этого многострадального текста читатель может увидеть под названием «Почерк как неявное знание: Аспекты проблемы» в сборнике: Альтернативные миры знания. – СПб., 2000.

В культурах, более рукописных, чем наша, письмо как живое действие принимает на себя гораздо большую социальную нагрузку и приобретает множество дополнительных значений (по сравнению с теми, что известны нам здесь и теперь). Это имеет сложные и детальные последствия для внешнего облика письма – из-за строгости, дифференцированности требований к нему. Очевидно, что поэтому каллиграфия в таких культурах выделяется в особую разновидность графического поведения со своими задачами.

На поверхности лежит сравнение письма (почерка) с языком (собственно, это касается любой культурной формы). Оно делалось не раз и, естественно, не лишено своих натяжек, в том числе и таких, которые имеют свои традиции. Попытки уподоблять одно другому буквально – в поисках возможностей «перевода» признаков почерка в черты характера, выделенные с той или иной степенью произвольности – у «классических» (образовавших определённую традицию) европейских графологов, последователей аббата Мишона – приводили к чересчур большим огрублениям. Как бы то ни было, однако, в основе сравнения – тот факт, что своим письмом – в том числе и его графикой – исполнитель говорит нечто не только о предмете письма, но и о самом себе (и, как правило, не знает, что – и как именно – он это делает).

Основная – хотя и не единственная! – задача и почерка и языка – «прозрачность»: передача информации о чём бы то ни было без того, чтобы замечаться при этом самому. Но это, в обоих случаях, – скорое идеальное состояние, которое никогда не достигается вполне. Собственная природа и языка и почерка, та «побочная» и разнородная информация, которую они в себе накапливают, в любом случае «отягощают» процесс сообщения; оба они могут как мешать, так и способствовать этому процессу, – что и заставило обратить на них внимание: как анализирующее, так и использующее. Что касается внимания анализирующего, то на уловление информационных «шумов» специальными средствами и их интерпретацию

ориентированы упоминавшиеся почерковедческие дисциплины.

Область использования «побочных» наслоений в почерке, может быть, даже шире. За ним совсем не обязательно стоит – да и не должно стоять – рациональное понимание используемых закономерностей и связей, тем более полное и отчётливое. Хорошо адаптированному в своей культуре человеку обыкновенно бывает достаточно просто их чувствовать – да ещё обладать достаточными «координационными возможностями» для их воспроизведения.

Подобно тому, как в некоторых состояниях речи – например, в поэзии – к чисто «передаточной» роли языка добавляются другие, в том числе и оттесняя эту «главную» роль на второй план, при чём на передний план выходят функции, связанные с физическим обликом слова как такового – так происходит и с физическим обликом писанного слова в каллиграфии. Прежде всего это касается той её разновидности, в которой она – род искусства.

Это, однако, происходит и в тех – явно не сводящихся к искусству – ситуациях, когда каллиграфическое оформление письма, характер этого оформления, правила его и степень строгости следования таким правилам делается инструментом вообще какой-либо разновидности культурно значимой коммуникации. В таких ситуациях почерк приобретает значение этически, социально насыщенного жеста. Это и делает необходимой его детальную регламентацию в традиционных – они же и рукописные! – культурах.

Первое напрашивающееся определение каллиграфии: она начинается там, где – помимо требований чёткости, ясности, «гармоничности» (им может соответствовать и индивидуальный почерк) – стилистические черты, определяемые некоторой традицией или их совокупностью, преобладают, относительно или абсолютно, над индивидуальными. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что это определение если и годится, то, пожалуй, разве только для европейской

разновидности каллиграфии. В каллиграфиях восточных выражение индивидуальности и не противоречит стилистическим чертам, и не вытесняется ими; взаимоотношения между стилем и индивидуальностью там гораздо более сложные. Поэтому необходима более широкая формулировка: каллиграфия – это письмо со специальными заданиями, в выполнение которых непременно входит и определённая – часто сложная – дисциплина его внешнего облика.

### **Каллиграфия как техника и как искусство**

Каллиграфия, конечно, – необходимость в допечатных культурах, но культура на то и культура, чтобы использовать свои необходимости для прироста излишеств, избытков, «неточностей». Разделение двух технически различных способов исполнения текста (каллиграфического и скорописного) способно обрастать дополнительными смыслами, – культура использует это для своих смыслопорождающих нужд. Поэтому едва ли не в каждой культуре, породившей каллиграфию, мы можем различить каллиграфию как технику и каллиграфию как искусство. В разных культурах этим понятиям будет соответствовать разный объём.

Каллиграфия как техника существует в силу ряда необходимостей, определяется ими и сводится – или почти сводится – к их требованиям<sup>41</sup>. Поэтому естественно, что с развитием пишущих машинок, принтеров и прочих средств механизации письменной речи круг её применения постепенно сужается, пока не сходит совсем на нет. Гораздо менее естественно, что она, исчезая, имеет склонность тащить за собой в небытие и каллиграфию-искусство – у которого совершенно другие задачи и, соответственно, во многом другая природа. Каллиграфия-искусство перерастает необходимости, существует в какой-то мере независимо от них, являет собой некоторую осмысленную избыточность. Восточные культуры (Китай, Япо-

<sup>41</sup> Например, в типографиях прошлого - ещё и начала нынешнего - века существовали «наборные рукописи»: они выполнялись каллиграфически, но никаких эстетических целей не преследовали.

ния, арабский мир; может быть, Китай – особенно) знают каллиграфию и как чистое искусство (более того, очень важное, вплоть до того, что первенствующее среди прочих): смысл слова в ней делается более или менее вспомогательным по отношению к общей задаче текста, каллиграф работает с графическим телом слова – по определённым традициям, и результат его работы прочитывается в соответствии с определёнными правилами.

Впрочем, есть, вероятно, и переходные случаи, когда к каллиграфии явно утилитарной (какова, например, канцелярская документация) предъявляется известный минимум эстетических требований: какие-то графические решения представляются желательными, каких-то, напротив, рекомендуется избегать. Яркий пример этого – немецкая канцелярская практика эпохи неоготического курсива XVIII в.: в ней требования классицистской эстетики – эксплицитно формулируемые – предъявлялась к самым утилитарным жанрам графики<sup>42</sup>.

Каллиграфия как техника обыкновенно не ставит себе целью выражение индивидуальности исполнителя – только воплощение функционально осмысленного стиля. Индивидуальность при этом если и выражается, то через избираемый ею стиль – который делается знаком её социального статуса, отношения к адресату... Впрочем, на выбор таких стилей в традиционных обществах весьма жёстко влияют внешние индивидуальные факторы.

С каллиграфией как искусством дело обстоит сложнее. Ставит ли она себе одной из существенных задач выражение индивидуальности, во многом зависит от того, о каллиграфии какого культурного круга идёт речь. Восточная каллиграфия себе такую задачу ставит. В европейской культуре – при всей её индивидуумоцентричности – скорее нет: европейская (и русская) индивидуальность не сделала каллиграфию одним из главных средств своего выражения.

<sup>42</sup> См. об этом: Таценко Т.Н. Палеография немецких документов XVIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины. - XIII. - М., 1982.

Техника – грубо-первичный (при всех возможных степенях рафинированности), необходимый уровень преодоления хаоса. Она – условие каллиграфии-искусства: необходимое, хотя вовсе не достаточное. Дальше этого уровня вполне можно и не пойти; то, что дальше – отнюдь не разумеется само собой и требует дополнительных, особых усилий и интуиции.

### **Различие каллиграфии в разных культурных кругах**

Можно подозревать, что различные судьбы – в том числе смысловые – почерка вообще и каллиграфии в частности в разных культурах связаны не только с «давлением» на письменность общего характера культуры (хотя без этого никак не обходится), но и, ближе, с самим характером употребляемой письменности, с теми возможностями, которые он даёт.

То, что в Европе каллиграфия не стала самостоятельным, самоценным искусством, вполне может быть связано и с буквенным – а не иероглифическим – характером европейского письма. Буквенная письменность, более аналитичная вообще, изначально задавала возможность главенства другого типа графических решений; давала и даёт меньшую, чем, например, в Китае, Японии и Корее, возможность живописности, сближения письма с изобразительными искусствами и, соответственно – наделения его достаточно широким диапазоном неутилитарных смыслов. Иероглиф – сам по себе образ, отсылка к образу или даже к целой их совокупности, и может предрасполагать к мышлению более образному, менее линейному – в том числе и графически. Преобладание таких тенденций в культурном мышлении и позволила, вероятно, восточной каллиграфии стать графической метафорой. (Трудно вполне исключить, что кисть, употребляемая на Востоке в качестве орудия письма, также отчасти могла способствовать «живописности» почерка и её последствиям).

Очень отдалённым, но всё-таки следствием ряда особенностей европейской письменности и культуры может быть названо то, что европейской каллиграфии пришлось работать в основном в областях не-личных действий: там, где требова-

лось их обслуживание письмом – в тех же канцеляриях. Основной задачей здесь, естественно, становились чёткость и ясность, а остальные отходили на второй план. Отождествление каллиграфии и канцелярского письма, графики официальных бумаг в Европе всерьёз началось только в XVII в.; но с тех пор оно успело зайти весьма далеко, вытеснив попутно едва ли не все прочие разновидности каллиграфии. Вряд ли, однако, в их оскудении стоит обвинять только – или прежде всего – канцелярскую графическую практику. Если какая-либо культурная форма убывает или исчезает – у этого всегда находится достаточно внутрикультурных причин. Было бы соблазнительно объяснить это нарастанием рационалистических тенденций в европейском культурном поведении и мышлении, но это, скорее всего, всё-таки огрубление: вряд ли нарастание таких тенденций было так велико и тотально, как привычно думать: оно касалось только отдельные зон культуры и не исчерпывало их.

Во всяком случае, новоевропейская каллиграфия, при всех своих очевидных недостатках в сравнении с восточной, хорошо освоила и выразила собой по крайней мере одну из смысловых областей. Она относилась по преимуществу к деятельностям, для которых личность – со всеми своими прихотливыми подробностями – избыточна и, для успешного их выполнения, должна дозировать самоподачу, вводя в действие только определённые свои стороны и качества. Графическим соответствием этого как раз и является «техническая», «утилитарная» каллиграфия как необходимая форма самодисциплины. Этим выражается тот из присущих каллиграфии общих смыслов, что она – область повышенного, по сравнению с рядовым почерком, приложения усилий и внимания, а значит, и самоограничений.

У этого возможны очень разные значения, и те из них, что осуществились в нашей культуре, всего не исчерпывают. Далеко не самое обязательное из этих значений то, что каллиграфия – область мертвящей регламентации, мундира и фрунта, убивающих всё живое и индивидуальное, хотя надо

признать, что в русской традиции (на самом деле – в представлениях, сложившихся всего-навсего к XIX веку с его особенностями – и социальными и графическими) она связывается с этим едва ли не в первую очередь, приводя на память чиновников, военных писарей и вообще всё противоположное естеству и подлинности (которые понимаются – или ощущаются – как ценность).

### **Неутилитарные смыслы европейской каллиграфии**

Однако у каллиграфии европейского типа есть также и не-утилитарные значения, причём они не сводятся только к эстетическим. Попробуем сделать некоторые предположения на этот счёт.

Каллиграфия, независимо от того, в каком культурном круге она осуществляется, может быть рассмотрена – и прочувствована – как род ритуала: действия, чутко взвешенного, построенного по определённой программе, имеющего по крайней мере два типа целей одновременно: устроить некоторую часть мира (пусть хоть малый его фрагмент – лист бумаги) и, через это, организовать, упорядочить хоть какой-то пласт душевной жизни пишущего.

Почерк вообще, а сознательно делаемый – особенно, – один из путей индивидуального вработывания в мир через физический контакт с ним. Разновидность чётко организованного, чутко переживаемого контакта с миром, которому (контакту) человек сам задает определённые физические характеристики и, переживая их, получает опыт торжества над хаосом, аморфностью и пустотой.

В этом смысле, с допустимой долей произвола, Акакий Акакиевич с его страстью к каллиграфическому переписыванию вполне может быть воспринят как существо, которое, не имея достаточного внутреннего содержания и веса для противостояния хаосу окружающего, непонятного и чуждого мира, – цепляется за каллиграфию как за единственный доступный ему, дающий единственно возможную для него опору опыт

структурности, – надёжности, очевидности. Он немного и демиург этой структурности и очевидности – поскольку воспроизводит её собственной рукой. Как тут не вырасти в собственных глазах, особенно когда для этого не находится никаких других оснований! Но Акакий Акакиевич в собственных глазах не растёт: рефлексия в настоящем смысле слова не свойственна ему – для этого его почерк слишком неиндивидуален, он работает по чужим шаблонам и в движениях собственной руки не видит себя самого. Акакий Акакиевич, может быть – самая первая ступень перевода от хаоса к космосу: даёт космосу – порядку – самое первое, начальное, не смысловое, а лишь формальное осуществление, да и то не сам, а по тем же чужим шаблонам. Его навязчивое писание – род суеверного бормотания, языческого заговаривания хаоса (тем более, что нет никаких признаков его ориентированности на Бога). Буквы, выписанные определённым образом – единственный доступный ему опыт смысла, понятной организации мира. Это – нижайший из уровней смысла. Ниже, кажется, уже некуда: ниже сам хаос. Но всё-таки уровень смысла, – хотя и крайний его случай.

А что происходило в той же культуре на более высоких уровнях?

Известно, например, что сам Гоголь был внимателен к почерку и каллиграфии и имел собственный опыт каллиграфического переписывания – неизбежный, впрочем, для человека рукописной культуры: переписывал таким образом тексты других писателей, труды отцов Церкви. На поверхности лежит та интерпретация, что в современной Гоголю культуре каллиграфический текст выполнял функции машинописного, существуя для удобства чтения. Можно предположить, однако, и более глубокий пласт значений, – если, например, вспомнить употребление каллиграфии человеком той же культуры, Достоевским, в качестве «медитативной графики» – средства вдумывания и вчувствования через каллиграфически выполняемое слово в предмет, который им обозначается или связан

с ним, – или в персонажей через моделирование их почерка<sup>43</sup>. Что касается текстов других писателей, их каллиграфическое (а не скорописное) переписывание может быть и формой уважения к чужому тексту: непозволение себе графических вольностей, почтительность дистанции. Индивидуальным почерком человек пишет своё: то, чему он хозяин и чему поэтому вправе давать и собственную (произвольно-случайную) графическую форму. Каллиграфическое же – более медленное – выполнение текста может быть также средством прочувствования чужого хода мысли: с убиением при этом собственных графических характеристик, чтобы не мешали, – чтобы дать в себе чужому тексту как можно больше места, для чего и избирается нейтральная графическая форма. В отношении же трудов отцов Церкви возможен ещё и вот какой дополнительный смысл: это может быть молитвенного типа контакт со значимым текстом через проживание его выполнения, – отдалённое подобие монашеского послушания в монастырских скрипториях.

Человек создаёт графический облик чему-то, что, по его представлениям, имеет большую, надличностную значимость, и этот облик не может быть создан такими суетными, структурно невыдержанными, полными случайностей средствами, как бытовая скоропись. Важность дела требует важности движений – и, кроме того, следования определённой программе. Это – очень отдалённое, ослабленное, но все же подобие того, что нельзя, например, произвольно менять текст молитвы как особой формы контакта с Божеством. Разумеется, мы контактируем с Божеством всей нашей жизнью, но есть особо выделенные формы и участки этого контакта – требующие особого внимания и особого типа поведения. Это может относиться и к поведению графическому.

### **Каллиграфия как воплощение норм. Её соотношение с рукописной практикой**

<sup>43</sup> См. об этом: К. Баршт. "Каллиграфия" Ф.М. Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. - Петрозаводск, 1994. – С. 101-129.

Вообще, самый явный – и первый, и поверхностный смысл каллиграфии во всякой рукописной культуре, с которого, собственно, следовало бы начать – это то, что каллиграфия служит воплощением и источником нормы, суммой и формулой графического опыта времени. (Строго говоря, каллиграфия в этом смысле – и вообще во всей возможной полноте своих смыслов – существует только в рукописной культуре; оформляющие письмо нормы тем сложнее и строже, чем оно важнее как форма участия в культуре и в жизни. Степень развитости каллиграфии и внимания к ней с этим очень тесно связана.) По большому счёту, если делать каллиграфию предметом исследования, её стоило бы рассматривать на фоне почерков её времени – с точки зрения соотношения её с ними, обмена опытом форм. Вполне возможно, это выявило бы некоторые дополнительные смыслы каллиграфии как графического поведения.

Понятно, что графическая жизнь всякого времени базируется на некоторых нормах и «самоочевидностях», и не менее понятно, что рукописная практика от этих норм всегда отступает. Более того, в этом – одно из «назначений» и самой графической жизни (насколько у неё вообще могут быть «назначения»), и нормы как таковой. Она в данном случае представляет собой не более чем точку отсчёта; лишь очерчивает границу – необходимую, но преходящую – которую хотя бы уже в целях разборчивости лучше не переступать. Начиная с некоторого исторического момента, по крайней мере в Европе и в странах европейского культурного круга, «ядром» таких норм является школьная пропись. Именно её изменения означают ни много ни мало как – через смену «точек отсчёта» – изменение структуры всей рукописной жизни эпохи.

П.Н. Берков<sup>44</sup> вводит понятие «каллиграфического шаблона» эпохи, который, по его наблюдениям, меняется каждые, примерно, 25-30 лет. Мы бы добавили, что в разное время и в

<sup>44</sup> Берков П.Н. О переходе скорописи XVIII в. в современное русское письмо // Труды ЛО Института Истории АН СССР. - Вып. VII. - 1964. - С. 37.

разных культурах эта скорость может быть различной, и наблюдение Беркова годится скорее всего для того времени, на материале которого возникло: для XIX-XX вв. Впрочем, точных измерений, связанных с этим, насколько нам известно, ещё никто не проводил. По отношению к этому «шаблону» индивидуальные почерки представляют собой частные варианты. Мы бы истолковали этот «шаблон» как образец, ориентир, существующий в сознании и навыках всех (или большинства) пишущих в данное время. Этот ориентир имеет несколько источников формирования, из которых пропись – не единственный, хотя и основной. Другими источниками может быть практически всё, что способно послужить образцом, моделью для построения букв: это и типографские шрифты, и наиболее употребимые у современников графические решения, и т.п. Всё, кроме прописи, имеет, однако, скорее специальное, вторичное влияние, которое возможно только потому и постольку, поскольку пропись задаёт костяк шаблона. (Его лучше назвать «графическим», чем «каллиграфическим», поскольку первое понятие шире: далеко не всякая графика – каллиграфия.)

Итак, пропись – ядро «графического шаблона» эпохи, которое делает возможным нарастание на нём уточняющих частей. Она-то и отражает прежде всего уровень развития почерковой графики и основные его тенденции, будучи суммой и синтезом графических идеалов и графического опыта эпохи, воплощением представления о минимуме графической нормы. Она – область общезначимого, база всех возможных интерпретаций и одновременно их же предел: то, чему следуют и от чего, одновременно и неизбежно, уходят.

В классических рукописных культурах различались два вида прописей: для обучения письму детей и для овладения определёнными каллиграфическими стилями. С вырождением европейской каллиграфии как деятельности второй вид исчез.

Можно себе представить, что исторически изменчива как сама норма, так и её взаимоотношения с её бытовыми реализациями. Соответственно, можно говорить о двух направлениях нормирования правила в графических процессах. Первое и основное, какое-то время и единственное (до возникновения более-менее общеобязательной прописи как культурного явления): спонтанные перемены в письменной практике под влиянием эстетических вкусов и привычек времени, орудий письма, потребности в определённой его скорости, и т.п. Второе и более позднее: тот результат спонтанных процессов, который воспринимается каллиграфией и делается правилом. Строго говоря, правила каллиграфией не создаются: они только осмысливаются и транслируются ею.

Последняя по времени смена точек отсчёта – из достаточно незаметных, в пределах одного графического типа, в нашей культуре случилась в середине 1960-х: реформа школьных прописей в сторону упрощения системы движений. Нетрудно понять, что подобные централизованные и волевые вмешательства в процесс развития письма – во-первых, скорее исключение, а во-вторых, явление по преимуществу, если не исключительно, Нового времени. Традиция живёт автоматизмами, накоплением постепенных, редко замечаемых изменений – с которыми «волевые» воздействия взаимодействуют, учитывая их и вращая в них в виде своих последствий. В этом смысле министерства просвещения – или то, что им в разных культурах соответствует (если соответствует!) – ответственны, через выработку и распространение базовой модели письма, за общую графическую ситуацию времени. А через неё, в какой-то мере, пусть очень окольными, неявными путями (...не измерена ещё истинная сила окольно и неявно влияющего в культуре!) – и за психологическую и эстетическую его ситуацию. Опыт, получаемый через почерк при письме и чтении – разновидность психологического и эстетического опыта (повседневного, не замечаемого, но от того не менее действенного) того типа, который свойствен данной культуре. Это опыт определённого типа порядка, который (опыт) получают все,

причастные данной рукописной культуре. (Организация листа определёнными линиями оказывает известное воздействие не только на пишущего, но и на созерцающего; восточные культуры это знают и развили до достаточно далеко идущих следствий, а мы только чувствуем с разной степенью отчётливости.)

### **Почерковая графика как инструмент межкультурной коммуникации: пересаживание культурных моделей в почерке**

Каллиграфия, понимаемая как набор стилистически значимых образцов письма, способна работать – и работает – как проводник влияний одной культуры на другую, поскольку такое влияние есть перенятие образцов, моделей действия.

Едва ли не самым ярким примером пересаживания графических моделей одной культуры на почву другой является история русского письма конца XVIII – первой трети XIX века. Именно в это время в бытовых и канцелярских почерках осуществился переход с автохтонной скорописи на курсивное письмо западного, латинского типа. Мы ассимилировали в известном смысле чужие культурные модели – и сделали из них вполне полноценную разновидность своего.

Начало этого процесса относится, по существу, ещё к графической реформе Петра. Она, как известно, рукописных почерков не затрагивала, – но, поскольку придала типографским литерам закруглённую – латинизированную – форму, – влияние латинских форм на русское рукописание, опосредованно, началось уже отсюда.

Начиная с последних десятилетий XVIII века в России распространяются прописи, имеющие характерную для западных почерков структуру. В результате этого в обиходе русской гражданской скорописи сформировались почерки соответствующих типов, из которых выделяют три основных<sup>45</sup>: письмо «готического» типа, так называемый «немецкий» почерк –

<sup>45</sup> Берков, указ. соч., с. 49-50.

имитирующий образцы германского неоготического курсива: прямой, остроконечный, высокий, с декоративностью, усложнявшей чтение, и вариант его: фактурный, или ломаный почерк – с чуть ослабленными стилистическими чертами: с некоторыми круглыми элементами, уменьшенной декоративностью; более распространённый «английский» почерк и «французский» – объединявший фактически три типа: ронд, куле и бастард; из них ронд, известный более под именем «круглого» шрифта, был популярнее всего<sup>46</sup>.

Со временем соотношение распространённости этих почерков менялось; общая графическая картина выравнивалась, разнообразие почерков постепенно перерабатывалось в однообразие или хоть в некоторое приближение к нему. Начиная с 1860-1870-х годов (только!) в обиходном употреблении победили наиболее удобные варианты «круглого» письма<sup>47</sup> – и продолжали «обкатываться» этим употреблением, обрастать автохтонными вариантами графических решений, всё более забывая свои западные истоки. В XX-XXI веке разнообразие типов не то чтобы больше не существует, – но уже нет такого чёткого их различия, с хорошо кристаллизованными формами и границами между ними.

На смену ему пришло разнообразие более спокойное и менее явное, удовлетворительных и полных описаний которого мы на сей день не имеем. Ясно одно – что всё это местные, автохтонные типы; а иностранные «вливания» если и были, то скорее случайные, по большей части на уровне перенятия отдельными людьми отдельных форм, и ни в коем случае не систематического характера.

### **Каллиграфические стили и социальный статус**

<sup>46</sup> Есть свидетельства о существовании русских прописей, «обработанных по английскому стилю» (1844) и французского типа («Азбука русского чистописания, расположенная на французский манер», 1789) – см. Рейсер С.А. Палеография и текстология Нового Времени. – М., 1970. – С. 78. Подобные прописи и дали основу почеркам названных типов.

<sup>47</sup> Рейсер, указ. соч., с. 82.

Владение определённым каллиграфическим стилем (или стилями) может быть не только следствием, но и, в известных случаях, одним из источников социального статуса. Конечно, это имеет некоторую связь и с известными ограничениями в распространении грамотности: чем менее распространено некоторое умение, тем оно ценнее – во всяком случае, в Европе источником высокого культурного статуса каллиграфии было в основном это (на Востоке ситуация несколько другая).

Поэтому повсюду, вплоть до последних десятилетий XIX века, до начала эпохи пишущих машинок, мы встречаем социальные группы людей, которые объединяются и выделяются по признаку владения письмом: писцы, писари, переписчики всех родов, видов и рангов. В средневековой Европе это прежде всего монахи-скрипторы: письмо культивировалось монастырями (как высокое искусство во всяком случае) и было одной из форм монашеского служения; отчего духовенство и стало одной из основных сред формирования книжноручкописных стилей. (Мирская стихия позже взяла на себя другую задачу в развитии графики: порождение и развитие индивидуального почерка, лишённого стилистической значимости, зато имеющего большую психофизиологическую информативность.) То, что таким образом формировалось и охранялось, было в известном смысле воплощением нормы как таковой; но монашеская графическая практика имела и собственную, социально характерную, физиономию: существовал характерный «монастырский» почерк, который узнавался в качестве такового.

История средневековой европейской почерковой графики – это в очень большой мере история писцовых школ: традиций, привязанных к определённому месту и определённому человеческому сообществу<sup>48</sup>. Традиции такого рода представляют собой «надстройку» над общим для данной культуры умением писать; базовые для этой культуры навыки-схемы в традиции школы подвергаются определённой переработке, интер-

претации, некоторым добавлениям. Это означает доступные наблюдению различия внутри общих для культуры стилей (для европейского средневековья это: унциал с полу- и четвертьюнциалами, минускул, курсивы, позже «готическое» письмо и курсивы на его основе) – черты, свойственные отдельным скрипториям и канцеляриям, которые пишущий приобретал, уже став членом корпорации.

Канцелярии также бывали источником своеобразных графических явлений; то, как и в какой мере им удавалось (и ставилось целью) создание чего-то похожего на собственный стиль – зависело от ряда обстоятельств. Канцеляриям более бедным и скромным – королевской капетингской, например, большинству канцелярий средневековых баронов – приходилось оставить претензии на собственный тип дипломатической графики, поскольку они были вынуждены довольствоваться писцами, набираемыми откуда придётся. Поэтому общий характерный, оберегаемый стиль не складывался: облик их графической продукции отражает характер местных школ письма – чаще всего монастырских, поскольку именно монастыри определяли этот характер главным образом; а светским канцеляриям, даже более богатым и устойчивым, доставалось в этом смысле подчинённое место.

То, что монастыри в средневековье были главными источниками графических процессов и блюстителями норм, связано естественным образом с их ролью в тогдашнем обществе вообще: их влияние – скрепляющее, организующее – на общество было более надёжным, чем мирской власти – и судьбы письма хорошо это отражают. Например, каролингский общелатинский минускул вначале пропагандировала светская власть для «эмендации» (улучшения) «книг по всем епархиям и обителям», но распространение он получил после того, как это взяли на себя власти церковные – для которых, вероятно, минускул стал символом и спутником католического единст-

<sup>48</sup> См. об этом: Добиаш-Рождественская О.А. История письма в Средние века: Руководство к изучению латинской палеографии. – М., 1987.

ва, единым графическим языком, сопутствующим единой латыни.

Поскольку письмо было, таким образом, не вполне и не в первую очередь светским занятием, его характер достаточно прямо связывался в представлении современников с образом религиозного поведения, с внутрицерковными ориентациями – становилось их знаком. Так, например, в Испании в XI веке каролингский минускул – руками клюнийских миссионеров – вытеснил местное вестготское, или толедское письмо, которое соответствовало и сопутствовало местной же мосарабской литургии, что и было закреплено постановлением Леонского собора 1091 г.<sup>49</sup>

И в гораздо более поздние европейские времена мы всё ещё находим основания говорить о «конфессиональных» аспектах графической практики. Среди особенно типичных канцелярских (дипломатических) курсивов начала Нового Времени выделяется т.н. бастарда, которую культивировала в особенности папская государственная канцелярия и канцелярия нунциатуры<sup>50</sup>. Область распространения бастарды во многом совпала с областью авторитетного влияния этих учреждений. Выйдя далеко за пределы Италии, бастарда очень привилась в католических канцеляриях XVII-XVIII веков; отчасти стала манерой учёных конгрегации того времени – иезуитов и бенедиктинцев св. Мавра; была характерным шрифтом послетридентской церкви; частично затронула и обиходное письмо – тех людей, кто так или иначе имел отношение к этому социальному, конфессиональному и смысловому кругу.

История русского письма подобных различий не знает (в силу большего единства и конфессионального, и графического); но и здесь ко времени петровской реформы 1708 г. различались скорописи гражданская и церковная. Причём они имели ещё и известную локальную определённую: новая азбука Петра, создаваясь, имела одним из своих ориентиров,

<sup>49</sup> Добиаш-Рождественская О.А. Указ. соч. – С. 164.

<sup>50</sup> Там же, с. 218.

кроме задающей общестилистические рамки латинской гуманистической антиквы, современную ей гражданскую скоропись Москвы.

«Корпоративный» характер графики сохраняется в традиционных рукописных обществах вплоть до весьма позднего времени. Так, ещё в конце XVIII-XIX веках все употреблявшиеся в России типы почерков (немецкий «готический», английский, французский трёх видов) имели, по свидетельству специалистов, доступные наблюдению различия применительно к различным ведомствам. Был, например, «министерский» тип почерка. В числе прочего, он отличался типичным размером – более крупным, чем «средние» почерки времени. Тип почерка под названием «военно-писарское рондо» (которое С.А. Рейсер отождествляет с министерским<sup>51</sup>) был официально введён в учреждениях военного ведомства и продержался там многие годы.

Социальное положение носителя почерка ещё в прошлом веке в известном смысле влияло на степень его оформленности, стилистической выдержанности, корректности. Плохой почерк могли себе позволить «лица значительные» – те, кто имел возможность пользоваться услугами секретарей. В противном случае приложение усилий графической самодисциплины было неизбежно. Не говоря уже о том, что «хороший» почерк – то есть, по сути, достаточно высокий уровень владения официально значимым типом (типами) каллиграфии – мог стать, и действительно становился, условием продвижения по службе и роста социального статуса (предмет горькой иронии мыслящих современников). Каллиграфическая дисциплинированность вполне могла поэтому соотноситься в восприятии того времени с конформизмом, загнанностью в официальные рамки, с принятием этих рамок – и скорее всего, не без некоторых оснований, – но и с огрублениями, которые неизбежны для обобщений подобного рода.

<sup>51</sup> Рейсер, указ. соч., с. 82.

Русской графической практике было известно также употребление разных почерков для разных целей. По крайней мере два таких почерка существовали в последние десятилетия XVIII в.: «академический» или «косвенный», то есть наклонный, и круглый «канцелярский»<sup>52</sup> – им даже обучали по разным прописям. Оба они – приобретения эпохи влияния на русские почерки западных моделей и следствия этого влияния. При этом основным графическим фоном, тем стилем, в котором выполнялось большинство рукописей того же времени, было «старое, почти квадратное»<sup>53</sup> письмо, зревшее весь век после петровской реформы печатного шрифта под её отчетливым, хотя и косвенным, влиянием.

### **Особенности каллиграфии в России**

На материале европейской графической истории можно весьма подробно говорить о каллиграфии как воплощении представлений и ценностей времени; о том, как в требованиях, предъявляемых к ней, находили отражение принципы мировосприятия эпохи, общекультурные установки (математизация, геометризация процесса построения письма у каллиграфов Ренессанса, особенно немецкого<sup>54</sup>; буйное стилистическое творчество в итальянской возрожденческой каллиграфии – культивирование разных типов почерков, игры и эксперименты с формой, «каллиграфический энциклопедизм»; графические причуды и излишества почерков барокко; усилия рационализации и регламентации письма в эпоху Просвещения). В России же историческое существование каллиграфии и диапазон её смыслов были заметно иными.

Каллиграфия как отработка и распространение стилистически значимых образцов всерьёз начинается здесь только с конца XVIII в., когда стали обращать сознательное внимание

<sup>52</sup> Там же, с. 76.

<sup>53</sup> Там же.

<sup>54</sup> См. об этом: Таценко Т.Н. Учебники письма как источник по истории немецкого курсива XVI-XVII вв. // Средние века. – Вып. 42. – М., 1978; Малов В.Н. Каллиграфия и ренессансное сознание // Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978.

на формирование почерков, о чём свидетельствует начало массового издания разнообразных прописей и пособий по каллиграфии. Пособие по каллиграфии – жанр европейский и на русской почве в это время новый. Такое позднее начало – и само время его, с особенностями этого времени – не могло не определить характера русской каллиграфии в дальнейшем. В частности, очень существенно для этого характера то, что каллиграфия никогда не была здесь «чистым» искусством: прикладной, а, следовательно, узкий характер был заложен в ней от начала. В этом немного изменит расширение – в общем, вполне законное – области русской каллиграфии за счёт книжного парадного письма допечатных эпох: устава и полуустава. При всей тщательности этой рукописной работы её трудно назвать в строгом смысле искусством, поскольку стилистически диапазон был узок: кроме устава и полуустава, никаких других возможностей стилистических решений просто не было; вся искусность состояла в корректном следовании определённой (и несложной) стилистической программе. (У искусства в этом смысле по крайней мере два существенных источника: разнообразие и сложность. Здесь не было ни того, ни другого.)

Конечно, мы можем вспомнить и о вязи. Но она, скорее, ближе (и гораздо!) к орнаменту, чем к почерку, представляя собой переходную между ними форму, скорее даже – орнамент на основе алфавитных форм. Кроме того, существенно, что влияния «больших» художественных стилей русских почерков как таковых также почти не коснулись (в рукописных книгах они затронули только орнамент). Например, во второй половине XVII века русский орнамент воспринял, ассимилировал влияние барокко (что привело к возникновению такого вполне самоценного явления в нём, как «русское барокко»<sup>55</sup>), а почерки того же времени никак на него не прореагировали. На структуру почерков, на характер графических решений,

<sup>55</sup> Черепнин Л.В. Русская палеография. - М., 1956. - С. 401.

которые по количеству и систематичности могли бы подняться до уровня стиля – это не повлияло.

Стилю рококо (тоже, заметим, западного происхождения, – внешнему по отношению к русской графической практике) повезло несколько больше: ему удалось оставить некоторый отпечаток на русских почерках конца XVIII в. Одна из азбук-прописей, распространявшиеся в то время в России, так называемая «Азбука двух почерков» (1779), которая имела большой успех и выдержала 5 изданий, – задавала в качестве образцов уже упоминавшиеся «академический» и «канцелярский» типы почерков. К общим их чертам, помимо прочего, относится то, что оба они были выдержаны в стиле рококо: «с завитушками, затейливыми росчерками, вычурными закорючками, прихотливыми "хвостиками" в ряде букв.»<sup>56</sup> К этому же стилю отчасти стоит отнести, думается, изобилие вариантов как больших, так и малых букв. В известной мере это, конечно, и симптом «переходности» графической ситуации – того, что графический стандарт ещё не сложился, находится в стадии становления, отчего и пробуются разные варианты. В пользу переходности ситуации говорит и то, что по мере приближения к концу века количество вариантов убывает.<sup>57</sup> С другой стороны, падает – сходя совсем на нет – и влияние стиля рококо с его манерностями.

Так или иначе, узко-канцелярское существование русской каллиграфии XIX века и скорое превращение её в синоним мундира и обезличенности представляется возможным связать с характером (и объёмом) её исторического опыта. Каллиграфия как самоценное занятие, полное собственных смыслов, например, как экспериментирование с формой, пробование стилей была здесь, во-первых, исключением, а во-вторых, действием единичным, авторским, происходящим в духе индивидуальных пристрастий, по индивидуальным прихотям – и достаточно поздним исторически. Она относится

<sup>56</sup> Берков, указ. соч., с. 49.

<sup>57</sup> Там же.

едва ли не только к XX веку. Примерами её могут быть названы каллиграфические опыты А.М. Ремизова – стилизовавшего собственный почерк под допетровскую скоропись; графические импровизации художников-авторов рукописных книжек как специфического жанра-синтеза литературы и прикладного изобразительного искусства.

### **Каллиграфия как имитация**

Среди смыслов каллиграфии, которые прочитываются даже на уровне бытового восприятия, есть и ещё один – вероятно, побочный, но вполне вытекающий из сути предмета и живущий своей жизнью в культуре: стилизация, имитация, рисовка. Воспроизведение различных чужих стилей или отдельных чужих почерков.

Каллиграфия как имитация сама по себе может быть частным случаем как каллиграфии-техники, так и каллиграфии-искусства. Это зависит отнюдь не от степени виртуозности исполнения, но от задач, которые при этом ставятся. Виртуозная подделка подписи в Сбербанке, как бы искусна ни была, искусством от этого не станет: цели не те. Явления подобного рода лежат почти за пределами собственно культурного смысла. Можно, однако, задуматься над тем, уже явно культурным, смыслом, который приобрела фальсификация рукописных памятников прошлого – с имитацией почерков в них – возникшая на волне интереса к национальной истории в эпоху европейского романтизма. Собственно, этот интерес только и делал возможным интересы более утилитарные: стремление, скажем, нажиться на продаже рукописи или приобрести известность. Здесь имитация графического стиля другой эпохи была одним из свидетельств – да и форм – интереса и вни-мания к ней.

Каллиграфия как воспроизведение чужих, стилевых или личных, форм – проникновение в самочувствие исполнителя чужого опыта на уровне и посредством движения, проживание чужого опыта с его формальной стороны – формы, созданной однажды некоторым содержанием – и реконструкция

его по ней, как лапы по вдавленному следу. Это, правда, всё равно будет собственный опыт, хотя и следующий форме чужого. Но в любом случае, – как, кстати, и в других искусствах, – здесь идёт речь о некоторой идентификации исполнителя-имитатора с представляемым «владельцем» почерка. Именно в таком, похожем, смысле каллиграф – князь Мышкин, умеющий писать разными почерками, перенятыми в разных местах у разных людей (фрагменты чужого культурного и личного опыта), переводить «французский характер» в русские буквы». Можно предположить, что каллиграфия служит ему средством осмысления – во всяком случае, переживания – чужого душевного мира; имитируемый почерк работает как посредник между людьми и даже между разными культурными кругами. При этом, разумеется, не имеет значения, что интерпретации князя не основаны ни на чём строго проверенном – только на индивидуальных интуициях и сложившейся на их основании системе образов – образов восприятия, в которые организуются, воспринимаясь, графические явления. Это уже просто другая проблема; важен сам факт внимания и стоящие за ним мотивы.

Что касается почерковых стилизаций А.М. Ремизова, то для него более главным, кажется, было не столько проживание опыта другой культуры как таковое, сколько расширение диапазона возможностей собственных графических действий, – которые он мог бы использовать для достижения собственных целей, осуществления собственных смыслов. Это было скорее интерпретацией себя в чужих формах. (Подобное хорошо знает китайская традиция.)

В начале XX века в русском искусстве возникает интерес к выразительным возможностям индивидуального почерка. Такие неортодоксальные участники культурной жизни, как футуристы, едва ли не первыми обратили серьёзное, смыслообразующее внимание на то, что почерк имеет эмоциональ-

ную, суггестивную значимость, которая может быть поставлена на службу художественным целям<sup>58</sup>.

Представляется неслучайным, что это – как и стилизующая работа с письмом (в том числе вполне бытовым) А.М. Ремизова – пришлось на определённую культурную ситуацию.

У человека внимание к собственному почерку – форма рефлексии. В культуре – тоже. Интерес такого рода тем более симптоматичен, что случился в эпоху зрелой, даже утончённой типографской, полиграфической культуры, на её фоне<sup>59</sup>.

Почерк – индивидуальный жест, который снимается при передаче того же текста печатным – унифицирующим – словом. В этом смысле рукописная речь располагается примерно посередине между устной и печатной, книжной речью, представляет собой переходную между ними форму – и обладает собственными смыслами, не сводимыми к смыслам ни одной из них<sup>60</sup>. Внимание к нему может быть связано с появляющимся в это время в искусстве и в мысли вниманием к «переходным» культурным формам, – в противовес откристаллизовавшимся и устоявшимся; с вниманием к тенденциям, отеснённым на периферию культуры (...кстати: обострение интереса к почерку в культуре не было ли одним из симптомов конца её рукописности? – которым мы ещё займёмся...), – с желанием актуализировать их для создания «новой» культуры. «Переходная» форма чувствовалась – не без некоторых оснований! – более живой, подвижной, в ней находили прелесть непредсказуемости<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Соколов-Ремизов С.Н. Литература, каллиграфия, живопись. - М., 1965. - С. 187.

<sup>59</sup> Кстати, более-менее в то же время – начиная с последних десятилетий XIX в. – в России появляются графологические сочинения, – как переводы и компиляции западных, так и, позже, попытки собственных построений. Это соответствует массовой, вульгарной стороне того же интереса.

<sup>60</sup> Вспомним «рукописность души» В.В. Розанова из той же культурной ситуации.

<sup>61</sup> – которая, кстати, не есть ли одна из сущностей жизни? Поэтому смерть – в лице окостенений разного рода, разной степени – и вынуждена её ограничивать: иначе та Бог вещь чего наделала бы.

В ситуации отождествления традиционной каллиграфии и типографского шрифта с «мёртвым» ремизовские опыты с почерком, конечно, были попыткой «воскрешения слова»<sup>62</sup>.

То, что работа с графическим телом слова у Ремизова проделала путь «от каллиграфии к свободной графике» (то есть, надо полагать, от жёстких заданностей к импровизациям), «от беловика к черновику»<sup>63</sup>, – соответствует росту интереса к «черновым» формам, смещению внимания от ставшего к становлению.

Почерк – подвижные корни того, чего типографские шрифты – окостеневающие ветви. В почерках – рост, в типографские шрифтах – итоги роста, не совпадающие с ним, запаздывающие.

Типографский шрифт более консервативен. Его роль в культуре родственна роли прописей и каллиграфических руководств: он тоже – сумма графического опыта и некоторый предел его.

Неудивительно поэтому, что те, кто хотел оспорить опыт предшествовавшего культурного состояния (русского XIX века), «ополчились» – в той или иной мере и форме – и на полиграфию и на официальную каллиграфию как на одни из канонических форм суммирования и санкционирования этого опыта.

### **Конец рукописной культуры?**

Постепенное угасание в Европе и странах европейского культурного круга каллиграфии как, всё-таки, не лишённого самоценностей занятия заставляет задуматься над тем, что это может быть началом и составной частью гораздо более широкого и серьёзного процесса: угасания рукописной культуры вообще. Разумеется, не всякое графическое, почерковое действие – факт рукописной культуры: культура есть сложная система условностей (со своей формальной стороны, конечно

<sup>62</sup> Молок Ю. По ту сторону умения и неумения (О графических текстах Алексея Ремизова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. - СПб, 1994. С. 153.

<sup>63</sup> Там же, с. 156.

– в которой сторона содержательная живёт, как в доме): непременно сложная и непременно условностей.

Индивидуальный почерк – во всей полноте своей индивидуальности и информативности – явление исторически преходящее. У него было своё начало в европейской истории, и есть основания думать, что однажды наступит и его конец. Он возник в Европе на рубеже Средних Веков и Нового Времени; в России – заметно позже (условия его возникновения как особого графического явления представляют собой особую тему).

Примерно XVIII-XX вв. в Европе, XIX-XX вв. в России – эпоха массового индивидуализма в почерковой графике: разнообразие индивидуальных почерков, которые далеко не все палеографы берутся компактно классифицировать, а многие вообще отказываются от этого (хотя, на наш взгляд, и напрасно). До Первой мировой войны в европейских обществах ещё сохраняется достаточно явная и стабильная стратификация и, соответственно, значительная степень традиционной регламентированности социальной жизни. Поскольку культура во многом оставалась ещё рукописной, сохранялись и графические соответствия этого: продолжали существовать различные функциональные, ведомственные типы почерков, отличные от простого бытового письма.

Первая мировая война и её далеко идущие последствия изменили характер социальной дифференциации, ослабили, если не разрушили, влияние многих традиций. Это не замедлило сказаться и на графическом поведении, степень соответствия которого формам социальной жизни стала уменьшаться. Само соответствие стало другим – менее явным.

Кроме того, с изобретением и распространением пишущих машинок<sup>64</sup> начался конец канцелярских, жёстко регламентированных почерков. За определёнными бумагами более не закрепляются «приличествующие» им способы написания. Исчезают различные прописи для разных почерков, специ-

<sup>64</sup> Первые пишущие машины фирмы «Ремингтон» появились в 1873 г.

альное обучение им. Индивидуальные курсивы остаются главной, почти единственной формой письма, а школьное чистописание с совокупностью его требований – единственным, что их оформляет. «Эксплицитные» требования к почеркам делаются всё менее выраженными – прежде всего потому, что в этом нет социальной необходимости. Всё это скажется на облике почерков.

Процессы их стихийной, постепенной унификации усиливаются с распространением вначале автоматической перьевой, затем шариковой пучки и фломастера. Они, особенно шарик и фломастер, приводят к упрощению системы движений в индивидуальных почерках (прежде всего, сходит почти на нет дифференцированность нажима как один из источников сложности графического результата). В истории русской графики одним из этапов устранения сложности была в 60-х годах XX века реформа школьных прописей в сторону упрощения базовой системы движений. Очевидно, что уменьшение сложности письма идёт рука об руку с редукцией сугубо эстетических аспектов в нём, со снятием с него «явной» эстетической нагрузки.

Наконец, создание и распространение компьютера как пишущего средства – и источника образцов форм букв – подводит нас, кажется, вплотную к началу конца рукописной культуры как таковой.

Этому вообще очень способствует то, что основную функцию передачи информации взяли на себя технические средства: телефон, телеграф, теперь, всё более, компьютер. Это связано с некоторой деиндивидуализацией и информации, и характера её передачи, и связанного с этим «коммуникативного поведения» – спектр возможных стилей которого стал сужаться. Письмо – одна из форм тонко-индивидуализированного действия – во многих случаях стало ненужным или необязательным, поэтому его характер перестал быть органической составляющей образа жизни. Со снижением социальной нагрузки на письмо оно начало оттесняться на периферию куль-

турной жизни, и это вполне могло быть причиной некоторых – а может быть, и довольно существенных – перемен в культуре вообще, в её целом, в распределении акцентов и тяготений в ней. Ведь она утрачивает один из созданных ею органов мировосприятия, контакта с миром, – во всяком случае, этот орган заметно ослабевает.

Разумеется, упрощение письма (помимо того, что оно и вообще достаточно неизбежно) – имеет бесспорный функциональный смысл. Но о смысле исчезающей сложности стоит задуматься. Нельзя исключать, что упрощение бытовой, повседневной, «утилитарной» графики (тем более, что других теперь почти нет) находится в некотором соответствии с упрощением и унификацией бытового поведения вообще: то есть бытового и повседневного отношения к миру, взаимодействия с ближайшими планами мира.

Письмо имеет для культуры и живущей в ней личности, на наш взгляд, некоторые самостоятельные значения, не заменимые, возможно, ничем. Оно (прежде всего письмо каллиграфическое; но отчасти и бытовое тоже) – разновидность терпения, выстраивания своего поведения – а через это и самого себя – по более или менее сложной системе усвоенных, значимых в культуре правил (и в этом смысле может рассматриваться как модель других действий подобного рода). Характерный для зрелых рукописных культур почерк как ритуал, как тщательно выстроенное, продуманное и прочувствованное поведение создаёт, продуманную и прочувствованную же, дистанцию между человеком и миром, означает дифференцированное отношение к адресатам своего писания. Вместе с почерком, понимаемым таким образом, исчезает одна из форм дифференцированности, продуманности, взвешенности культурного поведения, одна из форм самодисциплины – преодоления хаоса, власти случайности и инерции. Такое преодоление, кстати, и составляет, наряду с прочим, существо культуры. Она – постольку культура, поскольку оберегает сознательную, функциональную сложность и противостоит хаосу. Дисциплина и форма – стражи культуры: человекосооб-

разной, соразмерной человеку оболочки, которая защищает его от мирового хаоса. Культура – переходная область между человеком и миром, система посредников, регулирующая, смягчающая, сколько возможно, воздействие человека и мира друг на друга.

Индивидуальный почерк, тщательно структурированный в соответствии с традициями – индивидуальный опыт структуры, опыт одного из свойственных данной культуре типов порядка. Прежде всего это касается почерка каллиграфически выдержанного: и, разумеется, наряду с этим необходимо существование и более свободных вариантов почерка: как воплощения и проживания других видов опыта, – другого графического, а через это – и культурного самочувствия. Но существование только этих последних – и ничего другого – соответствует примерно тому, как если бы человек в одних и тех же, привычных до незамечаемости, джинсах и кроссовках присутствовал и в колхозе на картошке, и в театре, и на похоронах. Теоретически (и практически даже) это возможно, но что-то теряется.

Культура в одном из своих определений – система тонко дифференцированных дистанций (их рассчитывания, угадывания, соблюдения, комбинирования) – смыслообразующих; но ещё до смыслообразования и в качестве одного из условий его – позволяющая и заставляющая тонко и дифференцированно чувствовать мир, себя в нём и своё отношение к нему, – направляющая переживание человеком мира. Возможно, дистанции тем более тонко дифференцированы, чем сложнее и традиционнее (одновременно!) культура. В культуре XX в. – европейской, вернее, европейского типа – происходит постепенное нивелирование и сокращение дистанций, – что вполне может означать и отрицание самого существа культуры вообще – как системы опосредований. (На самом деле, скорее всего, привычные веками типы опосредований, и образования дистанций, и обращения с ними – сменяются новыми).

Культура также – совокупность способов, которыми человек, как звуки из инструмента, извлекает из себя собственную сущность – и создаёт её. Система средств, которыми человек создаёт, воспроизводит и проживает собственную сущность. В принципе не исключено такое понимание почерка, которое представляет его как одну из форм именно так определяемой культуры. С этой точки зрения, писание – вчувствование в мир в индивидуальном ритме, темпе и стиле. Почерком как индивидуальным стилем поведения человек очерчивает свои границы, подтверждает себя себе и транслирует себя миру. Попросту говоря, почерк – одна из форм проживания индивидуальностью самой себя.

Можно рискнуть предположить, что письменная, рукописная культура вообще интровертирует, обостряет, помимо прочего, и внимание пишущего к самому себе. Применительно к почерку как таковому это значит, что человек всё время имеет перед глазами остающиеся – «несмысловые» – следы собственных действий, это внимание совсем не обязательно осознаётся, но всегда более-менее чувствуется. В письме, в почерке мы не только контролируем и взвешиваем себя (или не делаем этого) – но и наблюдаем результаты этого. В одном из самых неявных, окольных смыслов почерк может быть воспринят и как напоминание нам о нашей ответственности.

Во всяком случае, независимо от степени сознательной рефлексии, в почерке человек имеет своеобразный опыт индивидуальности, – который с постепенным угасанием почерка как культурного явления угасает тоже, – уступая место каким-то другим формам этого опыта. Хотя очень может быть, что контакт человека с миром действительно делается менее индивидуально-точным (сглаживание индивидуальных черт рукописной графики – только частный случай этого) и на смену этому приходит точность обезличенная.

Упрощение письма имеет и – вполне поддающиеся описанию – этические аспекты. Уже говорилось о том, что в рукописных культурах существует – и по мере снижения «руко-

писности» культуры постепенно утрачивается – своего рода графический этикет (в том числе очень детально разработанный): совокупность этически значимых (в пределах данной культуры, разумеется) графических решений.

В культурах этого типа мыслимы такие разновидности графического поведения, которые приличны и не приличны, вежливы и невежливы, точны и неточны. В русском XIX в., например, характер построения подписи, в частности (может быть, и в особенности) росчерк, совершенно определённо прочитывается как этически значимый. Известно, скажем, что чрезмерный росчерк считался неуважительным, а в письме к даме или к вышестоящему лицу и вовсе недопустимым. Вспомним заодно и рассуждения князя Мышкина о росчерке, который «опаснейшая вещь». Тут, представляется нам, Достоевский выговаривает «латентно-психологический» опыт своего времени. У всякого подобного опыта есть корни не только в «графическом материале», с которым люди этого времени непосредственно и каждодневно имеют дело. Они – и в том историческом опыте, который, накапливаясь, определяет характер и действующего графического материала, и его восприятия, неявные традиции этого восприятия, того, что с ним связывается и проецируется на него. (В сущности, это – естественный бытовой субстрат графологических построений, – такие построения и представляют собой попытку его прояснения, систематизации, объяснения).

Что касается «неприличия» большого росчерка, такое графическое акцентирование собственной личности (знака её) могло восприниматься интуициями данной культуры как соответствующее эгоизму, претенциозности, демонстративности. Графические излишества могли соотноситься с излишествами в поведении, а отсутствие таковых – восприниматься как графический образ корректности, сдержанности, деликатности, самоконтроля, осторожности... – что, вполне возможно, не так уж и неверно. Обыденному восприятию достаточно интуитивной достоверности, тем более, если она подкрепляется общепринятыми мнениями. Но и вообще, если

вдуматься, это – интуиция из самых очевидных, если мы представим себе «росчерк» как место, которое человек претендует занимать собой, своим влиянием – и которое поэтому занимает своими «представителями» – линиями (мы сейчас говорим не о том, насколько это справедливо вообще, но о том, психологическая правда какого рода может стоять за подобными интуициями). Кстати, задумаемся и о том, что представление о графической «мере» – «чувство» графической «меры» – тоже может быть в разных культурах различно, поскольку воспитывается на разных нормах, принимая их за исходную очевидность.

Графическая организация пространства в таких культурах обладает всеми значимостями обращения человека к человеку и поэтому регулируется важными правилами; почерк вынужден выражать своими средствами все приличествующие случаю дистанции и оттенки. Разумеется, строгим правилам расположения элементов текста (которое, сделавшись хоть в какой-то мере произвольным, сразу же стало одним из индивидуализирующих признаков почерка, которые используются, в частности, криминалистами для идентификации исполнителя) подчинялись прежде всего официальные бумаги: рапорты начальству, прошения в разные учреждения. Но традиционная культура шла и дальше: она регламентировала на этом уровне (хотя, скорее всего, всё-таки менее жёстко) и частную переписку, даже письма к родителям: этикетом предписывалось место даты, обозначения места отправления, форма записи обращения в начале (в одну или в две строки – было существенно), размер полей, характерный вид подписи, как уже говорилось<sup>65</sup>. У нас сейчас нет данных о том, насколько чётко и последовательно всё это соблюдалось, но важен и симптоматичен сам факт наличия подобных требований в культуре.

В посттрадиционном культурном пространстве – в европейском XX-XXI веке – разумеется, графика ведёт себя иначе, хо-

<sup>65</sup> Рейсер, указ. соч., с. 11.

тя наблюдение за взаимосвязями судеб графики и культурного состояния теперь осложняется тем, что письмо как форма участия в культуре, постепенно оттесняясь на периферию культурных событий, перестаёт чутко реагировать на изменения состояния культуры.

То, что письмо понемногу теряет индивидуальность (и её неизбежного спутника, одного из источников её – сложность), что между людьми встаёт всё больше обезличенных, обезличивающих посредников – разумеется, не только симптом, но и сама форма общих «обезличивающих» тенденций культуры – европейской, а, поскольку она задаёт миру основные стилистические направления – то и мировой. Или, возможно – перехода её в какое-то качественно иное состояние – в котором личность, индивидуальность как особое, нагруженное рядом особых ценностей культурное образование уже не будет играть первостепенной смыслообразующей роли.

Европейская культура была «индивидуумоцентричной» отнюдь не всегда, что показывают, между прочим, и судьбы европейского почерка. «Индивидуализирующие» процессы в ней (и в нём) начались, если по очень большому счёту, может быть, всерьёз со времени позднего средневековья. (Разумеется, тут может идти речь только о процессах среди людей образованных, хорошо проработанных активным личным участием в культуре. В крестьянстве, например, явно происходило что-то другое, – впрочем, там и взаимоотношения с письмом другие). Безусловно, эти процессы были в разных частях и социальных слоях Европы очень неравномерны и неодновременны, – у этого могут быть и графические симптомы (конечно, при условии, что соответствующая часть общества владеет достаточно развитым и восприимчивым к таким переменам письмом).

Пик «индивидуализированности» был пройден европейской культурой, пожалуй, в XIX в.; вслед за тем, в XX, начались процессы омассовления, нивелировки с их многочисленными симптомами и последствиями. В истории европейского

письма этому соответствует, в частности, конец «больших стилей» в почерковой графике.

Внутри стилистических групп почерков XVIII-XIX вв. (особенно в бытовом, нерегуляризованном и «непрофессиональном» письме) существует уже такое обилие индивидуальных вариантов, что многие палеографы, как уже говорилось, даже отрицают возможность выделения на этом материале вообще каких-либо стилистических единств. Хотя для этого времени они ещё выделяются, примеры чего также уже приводились (В XX-XXI веке о каких-либо чётких стилистических группах почерков говорить уже, скорее всего, нет оснований. Исключение, впрочем, могут составить разве что группы, образующиеся на основе употребляемых в каждой стране прописей. (Они, как известно, несколько различны структурно даже в странах, использующих один тип алфавита; во всяком случае это относится к странам с латинской письменностью.) Но уже нет речи о сознательно выдерживаемых, сложных, дифференцированных стилях<sup>66</sup>.

И, как уже говорилось, основной тенденцией XX (особенно второй его половины) и XXI веков является нивелировка и упрощение почерковой графики вплоть до перехода – под влиянием, вероятно, всё более массовой компьютеризации – на письмо «печатными» буквами<sup>67</sup>. О последнем ещё можно говорить как о почерке, поскольку оно обыкновенно доста-

<sup>66</sup> Шрифты типа библиотечного или чертёжного не в счёт, так как, во-первых, они не почерки в строгом смысле слова, и, во-вторых, не имеют массового распространения, - используются в основном для чётко определённых целей, хотя, разумеется, они представляют собой хорошо выраженный рудимент того состояния, когда определённым типам документов соответствовали определённые рукописные стили.

<sup>67</sup> Любопытно задуматься над тем, что это ведь возвращает к жизни очень архаичную графическую форму. Компьютеры заимствовали формы своих букв у типографского станка, а он, в свою очередь, - у монументального письма, возникшего некогда на камне. (Хотя, конечно, в нём участвовали, и существенно, и другие формы, сменяясь в процессе жизни и развития типографского шрифта.) Это наводит на мысль что история письменной графики какой-либо культуры - при всем бесспорном наличии в ней преходящих до случайности, исчезающе кратковременных явлений и влияний - вполне могла бы быть представлена как развитие некоторых исходных форм-«данностей», - приводящее к следствиям, очень далёким от этих графических «архетипов», но всё-таки имеющим их в своей основе - что некоторым образом помнится, сохраняется и может быть прослежено.

точно индивидуально для того, чтобы, скажем, проводить по нему криминалистическую идентификацию исполнителя. Но возможности выражения тонкостей индивидуальных движений – и диапазон возможных графических решений – там существенно меньше, чем у связной скорописи.

Разумеется, индивидуальность человека и его действий сама по себе никуда не денется только от того, что выразительные возможности почерка перестанут быть столь же богатыми, как в пору расцвета европейской рукописной культуры. Но если этот канал выхода индивидуальности на поверхность сузится до незначительности, это вряд ли останется без последствий для характера и самочувствия европейской личности как таковой. Средства выражения, внешнего осуществления индивидуальности никогда не безразличны по отношению к ней самой.

Почерк с его системой условностей – действительно один из языков культуры, – вполне самостоятельный язык, который определённым образом прочитывается людьми, к данной культуре принадлежащими. (Когда Достоевский, устами князя Мышкина, говорил о «переводе французского характера в русские буквы» – он тем самым заметил «языковые» свойства почерка – дающие возможность выразить некоторые смыслы чисто графическими средствами, – в нашей культуре мало продуманную и освоенную.) Как и всякий язык, он не может быть без остатка переведён на другие языки; соответственно, в человеческой сущности всегда останется нечто, способное быть выраженным только средствами почерковой графики. Осмысление закономерностей этого языка (именно культурно обусловленных – физиологические закономерности уже достаточно хорошо изучены) представляет собой, на наш взгляд, достойную и увлекательную задачу, которая ещё ждёт своего решения.

# ИСПОДЛОБЬЯ

*Тексты, составившие этот раздел, на протяжении почти четырёх лет выходили на страницах книжного приложения к «Независимой Газете» – «НГ-Ex Libris», в котором автору случилось вести полосу «Концепции». С течением времени становилось всё яснее, что тексты такого рода образуют особый жанр со своими интонациями и манерами обращения со смыслом (и читателем). И поскольку надо же этот жанр как-то назвать, то почему бы не обозначить его именем вызвавшей его к жизни рубрики – «Исподлобья»?*

## ВОЛОСКАМИ НА КОЖЕ<sup>68</sup>

Может быть, одним из самых больших заблуждений человечества издавна была и по сей день остается странная уверенность в том, что глубокие, существенные, формирующие жизнь идеи вырастают непременно из чего-то большого и значительного. Например, из Больших Исторических Обстоятельств или, допустим, из Обстоятельного их Анализа. Не гораздо ли вернее то, что к этим Большим Обстоятельствам мысли примериваются уже потом, возникнув? И редко когда находят, что те им вполне соответствуют. И тогда – либо ломают эти самые обстоятельства, либо перетолковывают их, либо, так уж и быть – учатся им соответствовать...

А мысли – уж если откуда и растут, то не из самых ли, скорее, мелких, личных, может быть, даже телесных подробностей? Потому они и глубокие, потому так на нас и влияют, что идут из самой глубины. Из страхов и навязчивостей. Из снов и привычек. Из неудобств и невозможностей. Мысль пробирает нас, как дрожь, бьет, как озноб, выступает, как пот. Мышление – это психосоматика и скорее даже соматика, чем психика. Мысль застаёт нас врасплох, ставит перед собой, как перед фактом. А мы уже потом с этим фактом, как можем, разбираемся.

Как, помнится, Розанов говаривал, что стиль писателя – в кончиках его пальцев, не так ли суть мыслителя – в его коже, в чувствительных волосках на ней и в нервных окончаниях, в едва заметных болезненных царапинках?

<sup>68</sup> Опубликовано под названием: «Физиология идеала»: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 26.05.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-05-26/5\\_fiziologia.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-05-26/5_fiziologia.html).

Не в том ли самый ли верный способ примириться, ужиться с мыслью – своей или чужой – чтобы объявить её объясняющей некие обстоятельства? Проясняющей некие исторические горизонты, рисующей некие – общезначимые, разумеется! – перспективы? Не в том ли секрет власти, которую приобретают над нами чужие идеи, что они вдруг почему-то кажутся нам совпадающими с ритмами нашего дыхания, особенностями наших движений?

И не в том ли самый надёжный путь противостояния любой идеологии, чтобы пережить ее как нечто физиологически чужое? Представить себе, как она вырастает из чужого, частного тела и не имеет, стало быть, никакого отношения к нашему, столь же частному?

Но также: мы, может быть, только то и понимаем как следует, вполне, что прожили-продумали вот так, как собственное физиологическое событие, с полной телесной отдачей. Волосками на коже.

## ДОКОНСТРУИРОВАЛИСЬ<sup>69</sup>

Наше время, среди прочих своих поражающих воображение открытий, открыло и безусловное соответствие человека и его половой принадлежности, возможность их расхождения. Именно это фиксировано в категории «гендер» – социальный пол, который может совпадать, а может и не совпадать с «телесно» выраженным полом человека.

Очень возможно, интеллектуалы XX века это расхождение не изобрели, а действительно лишь открыли – но, подобно всякому открытию, это изменило жизнь. Оказалось, мы первичнее собственного пола: этот конструкт предписан, а пожалуй что, и навязан нам социумом в целях его, социума, удобства. Оказалось, человек справляется с этим самым полом-гендером как с задачей – которую в принципе можно бы и переформулировать... Тем более, что ее, кажется, никогда не решить полностью: пол-гендер – идеальная модель, утопия, от которой живой человек со своими особенностями обречен отклоняться. «Гендерные» требования – очередной поезд со своим равномерным и механическим ходом, за которым все мы должны, задыхаясь, бежать – и всегда будут неудачники (может быть, даже – в заметном количестве), которым так и не повезёт вскочить на подножку.

Оказалось, что пол вполне прокрустовым образом давит на человека, требуя от него что-то в своём Богом данном естестве приглушать, убирать, подавлять, а что-то, наоборот, стимулировать и усиливать. Человек как психобиологическая данность и единство вступает с полученной извне моделью в сложные взаимоотношения. Думал – тело, оказалось – костюм. Да ещё такой, который приходится лепить из собственного тела – ценой известного насилия над ним. Удобно, неудобно, подходит, не подходит – носи, никуда не деться, по-

<sup>69</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 23.06.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-06-23/5\\_doinstruktirovalis.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-06-23/5_doinstruktirovalis.html).

тому что без костюма нельзя. Не то что даже неприлично, а вот нельзя и всё. Ты без этого как социальная единица существовать не будешь.

Ну, нам не привыкать: европейский человек в последние несколько веков только тем и занят, что на месте цельности своего существа и естества открывает всё новые условности и обусловленности. А к ним, известное дело, возможно лишь одно отношение – преодолевать и освобождаться. Вот уже и пол осознан как набор социально обусловленных конструкций...

А что, если человек и впрямь перестаёт быть однозначно двуполым, всё дальше отходя от природной заданности, осваивая пространство собственных неявных, лишь намеченных природой, но лишь в культуре впервые осознанных возможностей и вариантов?

А что, если человек сейчас интенсивно теряет самого себя – чтобы затем, когда-нибудь, снова себя найти – уже совсем другого?

Поздравляю, доконструировались.

## ПОБЕРЕГИСЬ!<sup>70</sup>

Кинематограф, наверное, самое странное из искусств, и отношения у человека с ним – особые. Совсем не те, что возможны с литературой, живописью или, например, скульптурой. И даже с архитектурой, которая создаёт человеку среду, диктует ему собственные его движения, самочувствие, ориентацию в обнимающем его со всех сторон пространстве. Не сравнится с ним и музыка, властная царица искусств, проникающая человеку в самое естество – тем сильнее, что несловесна, непереводаема в слово и неподвластна слову. Нет, нет, по мощи воздействия с кино ничто не сопоставимо. Его следовало бы бояться.

Фильм завораживает и подчиняет сильнее музыки, потому что воздействует сразу на многие уровни нашего существа и естества. И на зрение, и на слух, и на словесное понимание, и на чувство ритма, и на сокращение и напряжение мускулов... Собирает всего человека, как в кулак. Не сдвигая человека с места, переносит его – всего, целиком – в переживание чужих и чуждых культур (вот – вернейшая среда для «межкультурной диффузии», которую исследуют киновееды в сборнике о «чужих» среди «своих»<sup>71</sup>). Кино соблазняет полнотой опыта – и тем охотнее мы идём на его зов: что же может быть прекрасней полноты опыта?! Смешением чужого и своего, души и тела...

Телесную (значит – глубокую) власть кино над человеком хорошо заметила Оксана Булгакова и неспроста назвала свою книгу «Фабрика жеста»<sup>72</sup>: кино формует, штампует, ставит человека на поток, несёт его на конвейере (куда?!). И делает это

<sup>70</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 28.07.2005. - [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-07-28/5\\_poberegis.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-07-28/5_poberegis.html).

<sup>71</sup> Имеется в виду книга: «Чужие» среди «своих»: глобализация и межкультурная диффузия в современном кино. – СПб.: Алетейя, 2004.

<sup>72</sup> Оксана Булгакова. Фабрика жеста. – М.: Новое литературное обозрение, 2005.

тем вернее, что каждому даётся в виде личного, интимного, единственного переживания и события.

Кино вообще коварно. Оно много чем способно прикидываться, маскируя своё подлинное, грозное лицо. Например, невинным развлечением (еще музыка это хорошо умеет делать, в этом смысле они родственники). Или, допустим, наставлением в морали. И люди доверчиво думают, что так оно и есть, что можно, скажем, целую книжку написать о цензурных запретах в кино и таким образом что-то в нём объяснить.

А вот ничего этим не объяснить. Потому что пока мы думаем, что кино делает с нами что-то одно – оно тем временем делает что-то совсем другое. Может быть, мы что-то в нём поймём, если, как Оксана Булгакова, постараемся увидеть его «боковым зрением». Тем, для рассматривания которым оно вообще-то не предназначено.

Чем кино отличается от прочих искусств? Тем, что они – искусства, а кино – уже сама жизнь. И режиссёр – особенный человек, потому что работает с реальностью в целом. Эту реальность он на нас и обрушивает.

Вот потому-то Сузо Чекки д'Амико, бывшая в числе создателей одного из самых мощных кинематографов в истории – итальянского неореализма – вспоминая свою работу в кино, болтает лёгкую чепуху: кто с кем спал, кто кому чего сказал...<sup>73</sup> Да перед лицом сакрального только так и можно. Его лучше не касаться словами.

Поберегись! Читай лучше книжки. Безопаснее будет.

<sup>73</sup> Имеется в виду книга: Сузо Чекки д'Амико. О кино и не только. – М.: Вагриус, 2004.

## БОЛЬШАЯ ИЛЛЮЗИЯ<sup>74</sup>

Все города – в сущности, вымыслы. Крупные и значительные – особенно, им сам бог велел, но что такое «крупность» и «значительность», как не увеличительное стекло, поднесенное человеком к городу?

Они в той мере и существуют, в какой вымышлены. Без насыщения вымыслами собранию стен и крыш городом никогда не стать. Ну самое большее, посёлком – пусть даже громадным.

Одно из открытий эпохи «открытых границ»: всякий город – лишь повод к его восприятию. Лишь стимул к его домысливанию.

Город – жанр восприятия человеком мира и самого себя, и жанр этот, вне всяких сомнений, – лирика. Он, конечно, только и делает, что притворяется то эпосом, то хроникой, то еще чем-нибудь эдаким объективным – но это явно входит в законы жанра: город должен ускользать, он просто обязан быть недоступным.

На самом-то деле он всегда чужой, даже если мы в нём живём с рождения и воображаем, будто всё в нём знаем – тем более, если нет. Как же это не чужой, если мы уедем или умрём, а он останется? Как же не чужой, если он существовал уже тогда, когда нас еще и в помине не было, и нисколечко в нас не нуждался? А если скажете, что и весь мир таков, то и это будет совершенно справедливо. Город – всего лишь концентрация мира, его усиление на одном, отдельно взятом участке. Чтобы нагляднее было.

Он на то и чужой, чтобы мы с ним всё время разговаривали – побеждали речью его неустранимую чуждость. Но будет ли

<sup>74</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 25.08.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2005-08-25/5\\_ispodlobia.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2005-08-25/5_ispodlobia.html).

то диалог человека и города – так вслушиваются друг в друга Париж и русский искусствовед Михаил Герман<sup>75</sup>, или монолог человека о городе – так о своём Лондоне говорит Питер Акройд, или даже диалог человека с самим собой и о самом себе на фоне и по поводу города – так открывает смыслы собственной жизни в вечном Риме Семен Файбисович, – наверное, в таком разговоре голос человека всегда слышнее, чем голос города. Может быть, только он один и звучит. И может быть даже, что бы он ни о городе сказал – всё будет правдой, станет ею с того самого момента, в который будет произнесено. Потому что человек сам наговаривает себе города. Потому что город вообще – большая иллюзия. Как и мы сами.

<sup>75</sup> Упоминаются книги: Михаил Герман. В поисках Парижа, или Вечное возвращение. – СПб: Искусство-СПб., 2005; Питер Акройд. Лондон: Биография. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005; Семен Файбисович. Рим. Разговор. – М.: Время, 2005.

## ВОСПАЛЕНИЕ СМЫСЛА<sup>76</sup>

Об империях до сих пор невозможно говорить спокойно. Всё, с ними связанное, почему-то очень уж задевает за живое. Всем, кто оказался покинут – либо обойдён – имперским прошлым, при слове «империя» становится обидно ли, стыдно ли, досадно ли – но непременно в той или иной степени не по себе. Кому – от того, что империи уже нет. Кому – от того, что она была. Кому – от того, что ее больше не будет. Кому – от того, что вот-вот, и начнётся новое имперское разрастание... Кому – от того, что империя была вовсе не тем, чем ее теперь называют: да, может быть, она никакой империей вовсе и не была! А кому – и от того, что до сих пор как следует не ясно, о чём, собственно, должна идти речь, когда произносят это самое слово: «империя».

Ей-богу, иной раз подумаешь, что лучше бы уже заменить это слово на какое-то другое. Слово «империя», наверное - из самых перенасыщенных смыслами (причём самыми противоречивыми!) за всю мировую историю. В этом смысле оно вполне сопоставимо с большими универсалиями типа «человек», «мир», «судьба»... Всё, что происходит сейчас вокруг концепта «империя», можно диагностировать как воспаление смысла. И, похоже, не острое, а хроническое. Это надолго.

Между тем миновала эйфория от того, что рухнули империи, подминавшие под себя мир своими грузными, непомерно разросшимися телами, не дававшие ему дышать свободно. Вот-вот пройдёт и период острой тоски по большому, устроенному имперскому Дому, в котором всем находилось незаменимое место, который защищал своих обитателей, давал им надёжные домашние смыслы... Начинается анализ утрачен-

<sup>76</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 22.09.05. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-09-22/7\\_vospalenie.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-09-22/7_vospalenie.html).

ного, учёт того, что досталось нам в наследство от ушедших империй.

Это – задача всех «имперских» в прошлом народов, мы тут не исключение. Свой имперский опыт оценивают и Германия, и Австрия, и Турция... И Франция – «республика словесности» – побывав на протяжении пары столетий законодательницей интеллектуальной культуры во всей Европе (которую так легко было отождествить со всем миром!) и утратив прежнее влияние, подводит итоги, старается выяснить, как жить дальше...

Однако неминуем следующий этап развития событий. Рискну предположить: им станет понимание того, что империи на самом деле никуда не делись и не собираются. На смену одним непременно придут другие. Потому что империя – это, помимо всего прочего, чувство, что всё в мире имеет к тебе отношение: причём так, что ты – центр этого мира и определяешь (или должен определять) всё, что в нём происходит. Это – претензия на такую универсальность, образец, идеал и источник которой – ты сам. Всегда найдётся тот, кто готов себя таким центром объявить. А что, разве еще не нашёлся?

## ПРИСЛОНЯСЬ К ДВЕРНОМУ КОСЯКУ<sup>77</sup>

Самое странное в молодости – то, что она, оказывается, кончается.

Первое движение, которым реагируешь на начало ее конца – изумление. Не может быть. Нет, может, конечно, но уж никак не со мной. То есть со мной, но это буду уж никак не я. Разве я могу быть чем-то отдельным от молодости? Чем-то отдельным от роста, от прибывания сил и времени, смыслов и пространства? Что же после этого от меня останется? Это, думаешь, точно как смерть, которая «бывает с другими».

Помню жестокую детскую мысль о старой интеллигентной женщине, читавшей книгу: зачем ей читать, если она всё равно скоро умрёт?

Всё долгое начало жизни преследовало чувство: как эти взрослые живут, если они не растут? Выросли, остановились и топчутся на месте, пока не вытопчутся совсем. А что остановились, в этом никаких сомнений. Видно же невооруженным глазом: после тридцати люди гаснут. Ну после тридцати пяти точно. А уж после сорока – и говорить нечего.

И вот – теперь – я?!!!

Когда первое изумление проходит, начинаешь открывать много чего.

Возрасты жизни – формы наших отношений с вечностью. И с разными ее обликами: с уютом и страхом, с радостью и отчаянием, с бытом и странствием, с телом и душой, с правдой и ложью... С историей. С государством. С языком. С памятью. С запахами и снами.

Возрасты жизни – возможность рассмотреть все эти вещи с разных сторон. Они себе стоят, а мы поворачиваемся.

<sup>77</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 13.10.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-10-13/7\\_kosiak.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-10-13/7_kosiak.html).

Они – зарубки на дверном косяке, которыми меряют рост. В конце концов понимаешь: дело тут не в зарубках, которые всё равно сотрутся – а не сотрутся, так закрасят. Дело в косяке, в том, чтобы собственной изменчивостью почувствовать его неизменность.

Вдруг обнаруживаешь, что у тебя, может быть, больше общего с поколением родителей – которое, по крайней мере, помнишь или воображаешь как некую цельность – чем с весьма разнородными ровесниками. Начинаешь подозревать: не надумывают ли себе люди большинство различий? Такие домыслы становятся культурным фактом, могут быть предметом анализа социологов. Но принадлежат ли они от этого к существу вещей?

«Семья» в молодости казалась ложью и несвободой, формой предательства себя, если угодно, да и других заодно. Постепенно открываешь ее правды. Находишь в ней способ противостоять навязанному извне. Она – разновидность упрямого естества – «капсулирует» нас в истории, защищает. Она – форма тихого противодействия истории, жизни наперекор ей, хитро мимикрирующая под согласие с ней и вживание в нее. История за стенами семьи отличается от истории внутри ее, как сырое мясо от хорошо прожаренного. Многие болезнетворные микробы убиваются. Для понимания этого даже не надо быть демографом или историком. Почитайте-ка частные письма, хоть той же Толстой-Воейковой<sup>78</sup>, вряд ли претендовавшей на создание глубоких и оригинальных суждений об истории – там то же самое...

Может быть, возраст – это убывание своего и нарастание общечеловеческого. В конце концов, наверное, придется понять, что здесь нет ничего ни трагичного, ни тем более бессмысленного. По крайней мере, не более, чем в жизни вообще.

<sup>78</sup> Речь идёт о книге: Русская семья в водовороте «Великого перелома». Письма О. А. Толстой-Воейковой 1927 - 1929 гг. – М.: Нестор, 2005.

## ОПЯТЬ ЛОМАЕТ<sup>79</sup>

Независимо от того, существуют ли закономерности в истории, в ее восприятии и переживании они есть точно. По крайней мере, явно заметны периоды, когда люди склонны думать, будто законы и направленный ход у всего происходящего есть – и такие, когда хочется верить, что ничего подобного нет. Не говоря уж о том, что любое принятие «объективных» исторических закономерностей – как и их отвержение – почему-то всегда оказывается результатом личного, пристрастного выбора. Даже когда оно очень аргументировано.

Особенно это касается истории, к которой чувствуешь себя так или иначе принадлежащим. История – это «я», растянутое во времени за собственные пределы. Один из способов преодоления собственной ограниченности – и одна из верных форм ее существования.

Отношения русских со своей историей – тема, волею судеб очень связанная с чувством собственной ценности. Существует целая поэтика русского переживания себя в связи с историей своего народа: самоуничужения и претензий, стыда и самообольщения, тревог и умолчаний. Нерасторжимый клубок гордостей и обид, почти не отличимых друг от друга. Быть русским – значит обладать определенным типом исторического самолюбия, весьма болезненного. Любой разговор о русской истории неизбежно задевает личные смыслы. Тем более очень объективный: как, кажется, о таких вещах вообще можно говорить бесстрастно?! В «объективности» самой по себе, мнится, есть что-то обидное. А уж в так называемые «переломные» времена...

<sup>79</sup> Опубликовано под названием «Россию опять ломает»: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 27.10.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2005-10-27/6\\_ispodlobia.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2005-10-27/6_ispodlobia.html).

Вообще-то, если принять новоевропейскую - прогрессистскую и индивидуалистическую – модель истории (чем она хуже прочих?), согласно коей история движется в некотором направлении, да еще и индивидуальными усилиями посредством личного выбора, – переломным, по идее, должно бы считаться едва ли не каждое мгновение.

Строго говоря, какие времена переломные, а какие нет – вопрос не столько знания, сколько его отсутствия. Как переломное обычно переживается время, когда привычные модели толкования истории и реальности, создававшие до поры до времени известный душевный комфорт, «вдруг» – в силу чего бы то ни было – перестают срабатывать.

Например, их начинают оспаривать в СМИ, как в Советском Союзе в эпоху перестройки, стремительно меня устаревшую на новую, еще более прогрессивную и правильную. Или – как вот сейчас – разные модели конфликтуют друг с другом, причём ни одна из них не может дать «полного и исчерпывающего» описания реальности, хотя только на это и претендует. А как найдут очередную единственно правильную – так нам и сообщат, что «переломное» время кончилось и мы наконец-то вступили в очередной благословенный период устойчивого развития.

Пусть уж лучше, что-ли, ломает подольше...

АБСОЛЮТНО ИЗ НИЧЕГО<sup>80</sup>

Даже страшно себе представить, что бы началось, если бы однажды все люди друг с другом договорились, выработали бы раз и навсегда, к вящему своему успокоению, конструктивные механизмы решения всех споров, оставили бы претензии друг к другу, всё бы друг другу простили, и наконец-то воцарились бы повсеместно сплошная свобода, равенство и братство.

По счастью, это блаженное состояние никогда не наступит. А то ведь мы не только друг друга – мы и самих себя перестали бы чувствовать.

Я – потому ведь только и я, что я всем остальным другой. И только потому и расту, вообще изменяюсь, что – другой самому себе. А изменяться почему-то нужно. Хуже того, никак не выходит устроить так, чтобы этого не происходило. Не растём, так убываем – но непременно меняемся.

Тут-то и приходит нам на помощь Другой – верное наше чувствилище. И оно тем чутче, восприимчивее, чем более Другой не вмещается в наши представления и ожидания.

Неспроста, едва мы договариваемся или примиряемся с очередным Другим – ему на смену всякий раз приходит следующий.

Дело ведь не только в том, что Другой всегда должен быть. Это-то понятно: иначе как бы мы проводили собственные границы? Но штука еще и в том, что Другой непременно должен раздражать. Он, конечно, совсем не обязан быть Чужим: это – крайний случай. Но он непременно должен быть труден и неудобен. Причинять боль. Вызывать недоумение и протест. Обиду и скуку. Страх и гнев. Желание, чтобы его не было.

<sup>80</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 10.11.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-11-10/5\\_fromnothing.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-11-10/5_fromnothing.html) .

Поэтому все решительно человеческие общности и отдельные особи от начала мира проблематизируют и драматизируют Другого.

Хорошо ещё, когда Другой предлагает сам себя. Существуют целые программы, сложно и подробно выстроенные культурные стратегии инаковости: те же денди с их странностями или интеллектуалы с их ангажированностью. И что характерно: у всех этих сознательно заявлявших себя Других есть смысловой оттенок универсальности. Вашим, дескать, условностям мы противопоставляем свою универсальность, вашей ограниченности – наши общечеловеческие ценности. Может быть, человек вообще склонен воспринимать как универсальное то, что совпадает с его собственными идеалами?

Если же другой себя, не дай Бог, не предлагает – его конструируют. Вытерзывают его и вымучивают. Раздраживают и провоцируют. Пестуют в своем воображении и воспитывают в родном коллективе.

Другого можно изготовить себе из любого материала. Из леворуких и кареглазых, из соседей и приезжих, из трудолюбивых и ленивых, из сумасшедших и нормальных. Да хоть из самого себя. И даже, если уж совсем не повезет – абсолютно из ничего.

## ГЛАЗА БЫ НЕ ГЛЯДЕЛИ<sup>81</sup>

Одна из самых притягательных тем для сегодняшних интеллектуалов – зрительный образ. По-учёному «визуальность». Философов, семиологов и разных прочих культурантропологов образы этого рода привлекает почему-то значительно больше, чем, скажем, слуховые, вкусовые, обонятельные. Их, конечно, все прекрасно замечают, и рассуждения о них тоже встречаются. И тем не менее теоретизирования по их поводу благополучно остаются где-то на периферии современной мысли, составляя скорее ее экзотику. «Тактильность», «аудиальность» или «ольфакторность» интеллектуального мэйнстрима точно не образуют и, похоже, не собираются. «Визуальность», напротив – ярлык и общее место. О чём бы нынче ни зашла речь – о моде, о дизайне, о столь излюбленной теперешними теоретиками телесности вообще и эротике в особенности – ну никак не миновать рассуждений о зрительном образе.

Тема «визуальности» явно задевает современного человека за что-то крайне чувствительное. Она оказывается связанной с характерными тревогами времени.

Обыватели (это, значит, те, у которых рефлексия не входит в число профессиональных обязанностей) в своем простодушии могут и не подозревать, что реальность буквально уводят у них из-под носа. Интеллектуалы же не перестают настаивать: нам подменили мир. Нам заслонили его образами – копиями, давно не нуждающимися в подлинниках. Вытеснили его ими. Ведущая черта «визуальной цивилизации», повторяют они – симуляция, подмена, утрата настоящего.

<sup>81</sup> Опубликовано с изменениями: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 01.12.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-12-01/6\\_glaza.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-12-01/6_glaza.html).

А ведь недаром так естественно – если не сказать, так навязчиво – тема образа срастается с темой насилия, агрессии, угрозы.

Цветной, яркий и будто бы легкомысленный зрительный образ наших дней – на фотографии или на картине, в видеофильме или на телеэкране, на рекламном постере или на мониторе компьютера – встает в один тревожащий ряд с очень глубокими, архаичными страхами человека: Зеркалом, Двойником, Тенью.

Во всем этом, и не только в европейской культуре, едва ли не изначально был привкус смерти. Был – и никуда не делся. В сегодняшней «визуальной цивилизации» со всех сторон обступают нас древние страхи. Это они глядят на нас с глянцевых страниц и цветных экранов.

Согласитесь, в запахе, в осязании, во вкусе, даже в звуке есть что-то успокаивающе-плотское. Конкретное. Даже если неприятное, то – как-то по-человечески неприятное.

Не то – зрительный образ. Он лишь одной своей стороной здесь, а другой – точно где-то в потустороннем. Где-то там, откуда приходят видения, призраки, кошмары...

А ну ее, эту вашу визуальность. Глаза бы не глядели.

ОНА УСКОЛЬЗАЕТ<sup>82</sup>

Массовую культуру, как известно, придумали высоколобые интеллектуалы, чтобы им было что анализировать. Но вот что удивительно: чем больше они ее анализируют, конструируют, придумывают и снова анализируют – тем меньше им ясно, о чём, собственно, у них идёт речь (что уж говорить о нас, грешных, которые во всём этом живут и разбираются с предметом в скромном соответствии со своими личными пристрастиями). Одни готовы включить в массовую культуру походы по магазинам, другие и вовсе ни перед чем не останавливаются и причисляют к ней даже сны и фантазии (а потому что виртуальная реальность)...

А вот мне кажется, что точнее всего суть дела здесь уловил один непрофессионал – журналист Кен Сейнс из сборника западных исследований массовой культуры<sup>83</sup>, которого так раздражала «имитация» влажных лесов в американских зоопарках. Ну чего, казалось бы, тут массового: очень сложная, очень штучная работа, требующая огромного множества специальных знаний, ещё, небось, посложнее, чем кино снимать. А что для массового обозрения – так это еще не аргумент: великие средневековые соборы тоже для массового обозрения строились – что, после этого Нотр-Дам – массовая культура? Нет же – раздражает и всё: имитация! (А реалистическая живопись – не имитация?... ) Нет: всё равно ненастоящее!...

Вот оно: массовая культура – это мир искусственного. В этом чудится что-то угрожающее.

Поэтому в связи с массовой культурой постоянно повторяются рассуждения о «симулякрах», о подмене, вытеснении,

<sup>82</sup> Опубликовано под названием: «Кто боится Моцарта с Бахом?» // Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 15.12.2005. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-12-15/6\\_motzart.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2005-12-15/6_motzart.html) .

<sup>83</sup> Массовая культура: современные западные исследования / Пер. с англ. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005.

утрате «реальности»... Вот что, однако, удивительно: почему-то никого – ни на Западе, ни у нас - не беспокоит искусственная природа так называемой высокой культуры. Даже не элитарной (это как раз понятно, элитарное может раздражать и в известной степени для того и существует) – а именно высокой, нормативной культуры, которую, считается, надо хоть как-то усвоить, чтобы стать настоящим европейцем и даже в каком-то смысле полноценным человеком.

Почему-то никто не бьёт тревогу из-за того, что Бах с Моцартом, Данте с Петраркой и Хайдеггер с Паулем Целаном вытесняют у нас реальность и подменяют ее конструктами и фикциями. А ведь они воздействуют на нас куда более мощно, чем СМС-общение, шоппинг или песни Филиппа Киркорова. И, по идее, должны были бы менять нас куда более радикально.

А не беспокоится никто потому, что высокая культура фактически включается в состав естества. Человек живёт между двумя естествами: неосвоенным естеством природы и естеством культуры, которое – обоснованно или нет, скорее всего нет – кажется освоенным.

Что касается массовой культуры, то она, похоже – зыбкая граница между этими двумя мирами. Ещё не культура, уже не природа; уже не хаос, ещё не космос; не совсем дозволенное, не вполне запретное... Она не вписывается ни туда, ни сюда, и именно поэтому дразнит, раздражает, притягивает – ну, как всякая граница. Потому и окончательно определить её никак не выходит. Она ускользает.

НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ!<sup>84</sup>

Что может быть естественнее национализма, тем более – национализма агрессивного? Что может быть сладостнее и праведнее, чем яростно ненавидеть Чужое, видя его неправильность, неточность, частичность, наконец (ведь только Своё, единственное Своё совпадает со всей полнотой бытия!)? Ну хотя бы отталкивать его, оберегая Своё – такое драгоценное, такое уязвимое, – такое гармоничное и доброе к нам. Что, как не окаянное Чужое, так мешает нам жить, так разрушает наши порядки и правила, не желая и не умея с ними считаться? Что, как не оно, словно нарочно создано для того, чтобы наделять его всеми грехами, которые так хочется исторгнуть из себя, и в его лице поражать эти грехи, и очищаться?

Как успокаивает естество! Какую ясную картину мира оно даёт! Её даже выработать не надо: она сама выстраивается. Нет, вырастает, как тёплая кожа, чутко следуя за малейшими подробностями нашего тела, верная и единственная, неотличимая от нас самих...

Неестественно «понимать» другого! Неестественно терпеть, когда он ходит по нашим улицам, торгует на наших рынках, дышит нашим воздухом и отравляет его гнусными звуками своей варварской речи! Неестественно видеть в нём что-то похожее на тебя самого, когда невооружённым глазом видно, что ничего там похожего нет! Ну можно ли быть нормальным человеком с чёрной мордой, когда у всех нормальных людей красивые, естественные белые лица?!

Неестественно умываться – естественно не умываться. Неестественно говорить – естественно мычать («Чууууурки, вооооон!»), визжать («Жжжжжиды проклятые!»), бляеть («Бееееей негров, бееееелая гордость!»), чавкать («Мо-чи ха-чей!»), ры-

<sup>84</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 26.01.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-01-26/6\\_chetverenki.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-01-26/6_chetverenki.html) .

чать («Ррррроссия для ррууссских!!!»). Неестественно ходить на двух ногах – естественно использовать для этого все четыре данные Природой, надёжные лапы. Зря, что-ли, чтобы научиться всем этим неестественным действиям, нужно столько мучительных усилий? Стоит только этим усилиям, этому насилию над живым и добрым естеством, хоть чуть-чуть ослабнуть – как стремительно возвращается оно, настоящее, неискажённое, правильное, родное!

Да никуда от него не денешься! Оно всё равно своё возьмёт!

На четвереньки! Рррры!

МИКУКА НА ХИЛЕ<sup>85</sup>

Если бы безумия не существовало, его непременно стоило бы придумать. Более того, так оно и случилось.

Особенно популярным это занятие стало в XX веке, когда «норме» стало казаться, что ей не хватает самой себя. Что ей непременно надо выходить за собственные пределы,

XX век был золотым веком безумия. На безумие, обнаружившее родство с другими любимыми увлечениями века: бессознательным, мифологией, сновидениями, архаикой, игрой – возлагались огромные надежды. От него ждали освобождения, расширения культурных (и просто человеческих, экзистенциальных) горизонтов. Едва ли не все, связанное с безумием, мнилось глубоким, значительным. Пугающим, зато многообещающим.

В первые свои десятилетия век переживал настоящий роман с безумием – на всех мыслимых уровнях, в прозе и поэзии, в кино и живописи, в философии и, разумеется, в психологии – царице наук и властительнице умов столетия, которой безумие обязано немалой долей своей популярности, благодаря которой оно разошлось на стереотипы обыденного сознания и на фигуры речи.

Даже в детской литературе слова, высвобожденные из оков обыденного языка и обыденной логики, радостно заскакали к новым перспективам, осваивая открывшийся перед ними небывалый мир. Даниил Хармс писал в конце двадцатых:

*Все достигнет естегга:  
Есть и гуки, и снега...  
А ты, тетя, не хиле,  
Ты микука на хиле.*

<sup>85</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 02.03.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-03-02/5\\_mikuka.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-03-02/5_mikuka.html) .

Когда ближе к концу века французский психоаналитик Жак Лакан говорил, что так называемая нормальная жизнь не может быть понята вне безумия, это уже звучало скорее как общее место, чем как открытие. А российский философ Вадим Руднев, вполне с ним в этом отношении согласный, в начале нашего столетия уже задавался вопросом: «Но что такое нормальная жизнь, и существует ли она?»

Безумие в XX веке придумали из огромной потребности в нормальной жизни. Потребности, в которой не решались себе признаться, поскольку нормальная жизнь (не слишком понятно, на каких основаниях) неизменно ассоциировалась с чем-то пресным, блеклым, узким, скучным... в конечном счете неподлинным.

От безумия ждали новой подлинности – разумеется, лучше прежней.

А надежд-то оно и не оправдало. Обещаний-то и не выполнило.

С безумием произошло, наверно, худшее из всего, что могло произойти – и уж точно то, чего от него не ожидали: оно стало рутиной.

Обросло традициями и общими местами. Обзавелось типичностью и повторяемостью не хуже так называемой «нормальной» жизни. Оказалось, оно не хуже «нормы» умеет заводить в тупики и заблуждения, фальшь и бессмыслие.

Конечно, безумие, пока властвовало над умами, дало очень многое. Новые языки искусства. Новую оптику наукам. Новое, более гибкое и сложное представление о норме и о человеке вообще.

Только вот новой подлинности оно не дало. Очевидно, её источники – где-то в другом месте.

Вот такая получилась микука на хиле.

## КИНО ПОСЛЕ СМЕРТИ<sup>86</sup>

Кино, вне всякого сомнения, возникло задолго до кинематографа как совокупности технических средств и приёмов. Задолго до плёнки, проекционных аппаратов, экранов и многого другого. Все эти средства оно вызвало к жизни – и, надо полагать, благополучно их переживёт.

Оно безусловно старше литературы, старше живописи, старше музыки, пения и танца. Оно, весьма вероятно, старше и самого сознания. Животные, подозреваю, тоже его смотрят.

Кино – проживание жизни в образах. Изначальное, коренное. Лишь в человеческом мире оно распадается на «реальность» и «сновидения», на «бред», «воображение» и «галлюцинации». И не зря мы эти вещи не всегда различаем. И уж подавно не зря оказываемся в их власти с такой лёгкостью.

Не поэтому ли человечество так поздно додумалось до кинематографа как системы технических средств? Не поэтому ли все эти средства так сложны? – да ещё становятся всё сложнее и сложнее, ни одно другое искусство о подобном и мечтать не смеет.

Не поэтому ли – хотя прошло уже больше столетия с момента официально признанного рождения кинематографа – учёные-аналитики, теоретики-толкователи всё никак не могут договориться о том, что же оно на самом деле такое? Они, пишет Николай Изволов<sup>87</sup>, до сих пор не пришли к внятному согласию даже по поводу базовых кинематографических категорий – того, например, что такое «кадр». А кадр-то, догады-

<sup>86</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 30.03.2006. = [http://exlibris.ng.ru/fakty/2006-03-30/6\\_kino.html](http://exlibris.ng.ru/fakty/2006-03-30/6_kino.html) .

<sup>87</sup> Речь о книге: Николай Изволов. Феномен кино: История и теория. – М.: Материк, 2005.

вается Изволов, – «безусловно внеплёночное образование». Но ведь и само кино – тоже.

Не поэтому ли так поздно кинематограф стал отрываться от «реальности» (литература – когда ещё начала!) и создавать особую, собственную? – как у ни на кого не похожего режиссёра Владимира Кобрин<sup>88</sup>. Зачем создавать «собственную» реальность, когда и так вся реальность – твоя? Бывшая, настоящая и будущая; мыслимая и немислимая.

Вот Юрий Норштейн<sup>89</sup> со своей мистической анимацией почувствовался до чего-то очень верного в феномене кино. Настолько верного, что это выглядит парадоксом. У него в то, чтобы сделать рисованный фильм на несколько десятков минут, уходит решительно всё. Даже то, что лишено образа: запахи, сырость, озноб... Даже не вся жизнь, а многие жизни. Свои и чужие. В каждую сцену этого фильма, в каждый кадр. Поэтому Волчок из «Сказки Сказок» оказывается ближайшим родственником одновременно персонажей Гойи и Рембрандта – и перепуганного мокрого котёнка со случайной фотографии. По тому же принципу и мы во сне можем находиться одновременно в *карманной коробке* и в *Копенгагене, который движется, как поезд*<sup>90</sup>. Это всё кино: это оно создаёт отношение ВСЕГО ко ВСЕМУ. Оно и есть это отношение.

Оно настолько всеобъемлюще и всепроникающе, что слишком неочевидно. Его слишком просто спутать с жизнью вообще. Или с любой из её частей – как угодно. А оно все эти части превосходит. Оно, пожалуй что, превосходит и самое жизнь.

Подозреваю, после смерти нам покажут самое интересное.

<sup>88</sup> Упоминается в связи с книгой: Владимир Кобрин. – М., Нижний Новгород: Фонд Юрия Норштейна, МПК-Сервис, 2005.

<sup>89</sup> Речь о книгах: Юрий Норштейн. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. – М.: ВГИК, журнал «Искусство кино», 2005; Юрий Норштейн. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. – М.: ВГИК, журнал «Искусство кино», 2005.

<sup>90</sup> Такой сон приснился автору этих строк незадолго до их написания.

## ОПРАВДАНИЕ ПОТЕРИ<sup>91</sup>

Самое большое приобретение моего поколения (о других говорить трудно, но насчет своего вполне уверена) – это потеря.

Потеря нашей естественной, изначальной среды обитания, где мы родились, успели вырасти, собрать себе вполне законченную и устойчивую – как тогда казалось – систему ценностей, приоритетов, моделей поведения и приготовиться жить в этой среде долго-долго. А она как раз и кончилась.

Я о Советском Союзе и обо всей системе советской жизни.

У этой потери было несколько стадий. Кто-то прошел их все, кто-то через какие-то перепрыгнул, кто-то, может быть, на какой-то из них застрял. Но в целом я бы выделила примерно следующие.

Была и радость освобождения (ух, теперь-то все будет совсем иначе!...) И обманчивое удивление: да нет же, все вроде бы совершенно по-старому... И растерянность: а как теперь жить? И – очень не сразу, у меня это началось лет через девять после краха Союза – как будто внезапное обнаружение того, что прежней жизни действительно больше нет, и неожиданная, не лезущая совершенно ни в какую систему координат, глупая, сентиментальная и отчаянная тоска по исчезнувшей жизни.

По любым ее подробностям. По запахам в магазинах, по автобусным билетам, по вкусу советских макарон и пельменей. По чувству (на которое в советские годы не обращалось, сколько помню, никакого внимания), будто Витебск и Каунас, Ереван и Ужгород – не чужие города, а части единого советского мира, и запросто могут быть моими, стоит только сесть

<sup>91</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 27.04.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-04-27/5\\_loss.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-04-27/5_loss.html) .

на что-нибудь да и поехать. По ритмам уличного движения. По разменным автоматам в метро. По советским шариковым ручкам. Хотя бы уже потому, что этого больше не будет, что это как-то умудрилось совпасть с детством и юностью, которых тоже почему-то больше не будет...

Но надо же: прошло и это. Во всяком случае, кажется, уже проходит.

А вот на смену этой тоске приходят мысли о том, что Советский Союз ушел совершенно не понятным. И что заняться работой понимания теперь самое время.

Скажу по совести: что-то не очень верится мне в то, что эту работу понимания в полном ее объеме под силу выполнить тем, кто оказался так или иначе задет, уязвлен, очарован советским опытом. Кто сам оказался его частью – вот хотя бы как мои ровесники. Непременно возьмут верх какие-нибудь соблазны: отталкивания, высокомерия, сентиментальной идеализации...

Правда, чего точно есть возможность избежать – это иллюзии, будто мы занимаем по отношению к этой жизни позицию «абсолютного наблюдателя»: того, кто, как пишет Наталья Козлова, «смотрит на сцену социального театра из царской ложи, с исторически безопасного расстояния»<sup>92</sup>. Знаем мы этот театр. Сами играли.

Значит – шанс понимания у нас есть. И задача есть. Чего еще надо?...

А живи мы сейчас в какой-нибудь очередной, двадцатой, что-ли, пятилетке, читай вожделенный самиздат, зубоскальствуй по поводу речей очередного престарелого генсека, сиди в своей внутренней эмиграции – так ничего бы и не поняли.

<sup>92</sup> Цитируется книга: Наталья Козлова. Советские люди. Сцены из истории. – М.: Европа, 2005.

## А ОНО КА-А-А-К ВЫРВЕТСЯ!<sup>93</sup>

Потребительское общество достойно восхищения хотя бы уже потому, что отличается редкостной универсальностью. В точном соответствии со своим названием, оно потребляет решительно всё. Всё, что только можно и что, казалось бы, вовсе нельзя – обращает на пользу и в удовольствие себе, единственному.

В том, что оно потребляет разные предметы, нет, разумеется, ничего особенного: для того они и делаются. Не удивительно и то, что потребляет оно, постепенно приводя в негодность, и всякого рода природные ресурсы: землю, леса, воздух, воду

Нет, оно ухитрилось поставить на службу себе (лишить их собственного, исконного, неизвестного и неподвластного нам смысла – и такие вещи, которые, казалось бы, ни в малейшей степени не были для того предназначены.

Даже страшное. Даже смертоносное, гибельное, нечеловеческое. Даже несуществующее.

Ночь. Тьму. Смерть. Дьявола. Хаос. Небытие.

В том, что всё это можно сделать (и как ещё делается!) поводом для развлечений, опять-таки нет ничего удивительного. Как всё легковесное, это не стоит особенно долгого разговора. Но есть, кроме всего прочего – и это уже гораздо менее явно – ещё и интеллектуальное потребление. Высокое такое. Смысловое. Экзистенциальное и метафизическое.

Это когда всё перерабатывается, перетолковывается в собственные смыслы. Когда всё становится источником твоего соб-

<sup>93</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 18.05.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-05-18/11\\_ono.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-05-18/11_ono.html) .

ственного роста (как, казалось бы, привлекательно!). Это когда ты сам – незаметно так – оказываешься в центре мироздания.

И вот тут-то ты начинаешь потреблять самого себя.

Человек превращается в один гигантский желудок, и тактика выжженного – тотальным потреблением – мироздания оборачивается самоперевариванием.

«Закат Бога» и «закат дьявола» – утрата восприимчивости к тому и к другому, – а заодно и «обживание» ночи, наполнение её совершенно дневными смыслами – что-то уж слишком согласно совпали на Западе (и мы в этом смысле – его часть) с одним, стержневым процессом его смысловой истории: разбуханием, разрастанием европейского индивида и индивидуалистических ценностей.

Основная иллюзия современных потребительски ориентированных обществ, хочу я сказать – в том, что мироздание даже не то что познано или познаваемо (да Бог с ним, с этим познанием! кого оно всерьёз волнует?), а – обезврежено. Или, по крайней мере, может быть обезврежено в принципе, при соответствующем приложении правильно организованных усилий.

Что можно путём грамотно разработанных техник сделать как можно более безопасными для нас и внешние силы мира, и наши внутренние силы.

Есть, однако, некоторые основания предположить существование чего-то, что принципиально нас превосходит и не создано ни для нашего потребления, ни для нашего понимания, ни для нашего роста. Ни для нас вообще.

И пока мы думаем, что мы его подчинили себе и контролируем – оно ка-а-ак вырвется!...

## ПРАВИЛА НЕПРИЛИЧИЯ<sup>94</sup>

Вообразим ситуацию. Ночной клуб, освещенная сцена, жадные взгляды на нее из полутьмы. Выходит девушка. Медленно, под музыку, достает из пакета батон колбасы. Ножик. Булку. Масло. Отрезает кусочек хлеба. Кусочек колбасы. (Аудиторию колотит от вожделения). М-е-е-е-едленно намазывает хлеб маслом. Кладет сверху колбаску. (Аудитория шумно глотает слюнки). Откровенно, бесстыдно выкладывает бутерброд за бутербродом на тарелку. Берет один. (Аудитория напряженно дышит в темноте). Откусывает. Начинает жевать... Проглатывает. Все!

Тарелка пуста. Аудитория рычит от восторга.

Подобные зрелища непременно привлекали бы публику, желающую пощекотать себе нервы балансированием на грани приличия, если бы в нашей культуре, волею исторических судеб, оказалось табуированным есть на публике.

А ведь культуры с табу такого рода существуют. Запретами и правилами приличия культуры вообще изобилуют и весьма на них изобретательны. Исламская женщина, застигнутая врасплох раздетой, сразу же закрывает лицо, не беспокоясь об открытости взору всего остального. А в Корее, например, неприлично ходить с голыми ногами при старших – надо всегда надевать носки.

И то, что в таких обществах не устраивают стриптиз-шоу ни из прилюдного намазывания и поедания бутербродов, ни из публичного снятия носков, объясняется простым обстоятельством: всё это – культуры традиционные. В отличие от

<sup>94</sup> Опубликовано под названием: «Людоед у джентльмена неприличное отгрыз» // Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 29.06.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-06-29/9\\_ludoed.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-06-29/9_ludoed.html) .

сегодняшней западной, динамичной и прогрессивной, они не считают своей сущностью постоянное преодоление того, что уже состоялось и устоялось. Их задача – вписываться в рамки. Наша – эти рамки преодолевать.

Оттого для западного человека такой особенной, влекущей остротой обладает все «неприличное». Оттого именно вокруг него образуются области едва ли не самого интенсивного культурного напряжения. Отсюда та, якобы, «разнузданность» и «вседозволенность» западных культур, которая и общим местом быть уже перестала. Достаточно назвать книжку как-нибудь вроде «Краткая история попы»<sup>95</sup> - и читательский интерес, жизнерадостный и чуть-чуть нездоровый, тебе обеспечен, независимо от того, что ты там понапишешь. А все почему? Семантический ореол у слова такой...

Но всякая культура – и наша не исключение – непременно старается обзавестись своим Неприличным. Даже та, что искренне верит, будто ее исторический смысл – в сокрушении всех устоев. Сокрушишь одни – тем же движением созидаются другие.

У «разнузданности» и «вседозволенности» всегда - четкие границы. Допустим, публичное обсуждение сексуальной жизни перестало волновать. Не страшно – есть еще резервы. Можно щекотать нервы, например, публичным обсуждением источников и размеров собственных доходов. А что, в некоторых вполне себе западных странах спрашивать человека об этом – неприлично. Интересно, идут ли там нарасхват мемуары с пикантными признаниями типа «Как я зарабатываю»?

Главное, чтобы Неприличное было! Потому что дразнит воображение и будит мысль, и открывает новые перспективы человеческого – не содержание запретов, а они сами.

Какой радостный смех вызывала в детстве строчка классика «Людоед у джентльмена неприличное отгрыз!»! Ведь уже

<sup>95</sup> И назвали. О ней и речь: Жан-Люк Энниг. Краткая история попы / Пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: КоЛибри, 2005. – (Вещи в себе).

смешно, хотя ну совсем ничего не названо! Это-то и сообщает таким формулировкам подлинное бессмертие. Они поддаются любым интерпретациям, приживутся в любом культурном контексте. Каждый может наполнять их близким его сердцу содержанием. Ведь кто его знает, этого людоеда, что он на самом-то деле сделал! Может, он у джентльмена носок с ноги сжевал или припрятанный бутерброд из кармана выхватил. С вполне приличной вообще-то, самой по себе, человечинкой.

## ПОХВАЛА НЕАДЕКВАТНОСТИ<sup>96</sup>

История человеческих отношений – культур ли, стран ли, отдельных ли людей – должна быть понята ещё и как история обманутых ожиданий. Вернее – ожиданий и неминуемого их обмана.

Другого человека, наверное, и вообще-то никогда нельзя увидеть таким, каков он «на самом деле». Любого – а о представителе другой культуры и говорить нечего. Хотя бы уже потому, что в это «самое дело» неизбежно входит – пропитывая каждое его движение, сказываясь в каждой его интонации – то, как он видит самого себя: с громадными пластами смыслов, «фоновых знаний», предрассудков, ассоциаций, известных лишь в пределах его культуры и абсолютно непонятных за её пределами. Мы и сами себе обыкновенно не представляем, сколько в нас этого неявного. Человеку не очень-то свойственно об этом обращать на это внимание, и своя мудрость в этом, несомненно, есть: как та самая сороконожка, он непременно запутается, если будет считать все свои «конечности» и думать, в каком порядке их переставлять. Неявное для того и создано, чтобы быть неявным и действовать в нас автоматически.

Непонимание будет, пока свет стоит. Понимание, попадание, точность, совпадение – всегда исключение и непременно требует особых усилий. Но это – отдельный вопрос, и, кроме того, он уже достаточно неплохо продуман. Как справиться с непониманием, какие усилия прикладывать и как их распределять, на что и как обращать внимание – это люди себе уже более-менее представляют; над выработкой такого знания трудится – и весьма эффективно – целая армия профессиона-

<sup>96</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). - 10.08.2006.

лов: от психотерапевтов до культурологов. Есть даже специальная дисциплина, изучающая общение: коммуникативистика.

Гораздо менее продумано то, что непонимание само по себе чрезвычайно продуктивно. Рискну предположить, что понимание ему в этом даже уступает.

Хорошо бы знать, что делать с непониманием. Как правильно им распорядиться.

Непонимание порождает такую замечательную, необъятную, безграничную вещь, как домысливание. У этого слова традиционно не слишком хорошие подтексты в нашей культуре – а, если вдуматься, зря.

Домысливая то, что нам неизвестно и никогда известно не будет, мы выращиваем целую новую область собственного мира. Весьма вероятно, что «Восток» – который, как утверждают тот же Эдвард Саид<sup>97</sup>, выдумали в своих целях люди «Запада» – действительно никогда не был ни таким «загадочным», ни таким «нерациональным», ни таким «мудрым», каким его рисует себе европейское массовое, некритичное в своей массовости, сознание. Но, напроецировав на выдуманный «Восток» собственные ожидания, «Запад» – чем бы ни был он сам – тем самым стал лучше чувствовать, чего именно не хватает ему самому. Какие собственные качества он ещё не вполне развил, какие собственные стороны ещё не освоил. Из такого домысливания целая культура выросла. Чем был бы тот же романтизм без неистовой идеализации Востока?

Может быть, всё, с чем мы действительно имеем дело – это и есть мы сами.

Скорее всего, в «Другом» мы просто видим собственное отражение. Ну и что же в этом плохого: в зеркало, в конце концов, тоже полезно смотреться. А что касается Другого как он

<sup>97</sup> Утверждает он это в книге: Эдвард В. Саид. Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. – СПб.: Русский Мир, 2006.

есть... видимо, с его недоступностью придётся просто смириться.

## ПЕНИС КАК ФАЛЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ<sup>98</sup>

Секс в западной культуре настолько перегрузили значениями, что, кажется, он вполне потерял своё собственное. Он стал иносказанием иносказаний, универсальным означающим, способным выражать что угодно.

Может быть, это – компенсация за бывшую некогда (между нами говоря: давным-давно и совсем недолго, да и не повсюду в той же Европе) табуированность всего связанного с этим самым сексом? Так или иначе, если в глазах последователей Фрейда всё, что угодно – от лестниц до зонтиков, от шляп до туннелей, не говоря уже о бананах и огурцах – отсылало к сексу, то теперь ситуация, похоже, обратная: секс отсылает ко всему, к чему угодно.

Он способен быть иносказанием дружбы и жалости, господства и подчинения, протеста и стремления к защищённости, интеллекта и самоутверждения. Доказательством того, что ты уже взрослый, что ты ещё молодой, что ты романтик или прагматик, что тебе интересна жизнь, что ты сам этой жизни интересен... да мало ли чего ещё.

Бунтари шестидесятых стремились к сексуальной свободе едва ли не прежде всего прочего, видя в ней путь ко всем свободам сразу и к раскрепощению личности вообще – а там и до справедливого устройства жизни недалеко. Не знаю, как насчёт раскрепощения и тем более справедливого устройства жизни, но факт, что их стараниями западная культура (а в последние полтора десятка лет и наша) оказалась переполнена сексуальной тематикой. Вплоть до глубокой банализации этой некогда столь волнующей области жизни. О том, на что некогда в приличном обществе и намекнуть было немислимо, те-

<sup>98</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 07.09.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-09-07/10\\_penis.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-09-07/10_penis.html).

перь невозможно не говорить, а уж не слышать – и подавно. Кто не сексуален – тот на обочине жизни. Что некогда было табу – превратилось в мощный культурный прессинг.

Массовая культура себя без этого просто не мыслит: не будь секса, что бы вообще могло стать предметом её внимания? Все гляцевые журналы только и заняты, что выработкой и трансляцией образцов сексуальной привлекательности. Реклама какой-нибудь фигни, не имеющей к размножению совсем уж, казалось бы, никакого отношения, - типа, скажем, зубной пасты или батареек - в порядке типичного хода рассуждений намекает на то, что обладание этим замечательным товаром непременно сделает его владельца более привлекательным в сексуальном смысле.

Претендуя быть тем, вокруг чего – благодаря доктору Фрейду и его многочисленным наследникам – вращается вся западная культура, секс, похоже, вот-вот перестанет быть самим собой. Просто удивительно, как люди ещё ухитряются размножаться. Да при том, что ведущее к этому занятие так агрессивно навязывается со всех сторон – недолго и перестать. Хотя бы уже из принципа.

Говорят, будто Карл Густав Юнг некогда сказал: «В конце концов, пенис – это не более чем фаллический символ!». Даже если это восклицание Юнгу всего лишь приписывают злые языки – так ему, этому пенису, и надо.

## МИНИСТЕРСТВО НЕДОВЕРИЯ<sup>99</sup>

По большому счёту, первейшей заботой любой власти – особенно той, которая намерена быть сильной и устойчивой – должно бы стать разжигание недовольства ею. Это недовольство стоило бы поощрять, стимулировать, провоцировать и культивировать. Учить ему в школах. Даже навязывать его: да, именно, лучше всего как раз навязывать. Имело бы смысл и министерство такое учредить: Министерство недоверия. По крайней мере – Государственный комитет по подозрениям. И, избави Боже: только не тайный. Нет, пусть в глаза бросается, пусть их мозолит. Такой власти несомненно доверяли бы гораздо больше. Да что я говорю: только такой власти бы и доверяли.

Один из самых сильных соблазнов у человека – действовать (ну хотя бы думать! хотя бы наедине с собой!) наоборот: не так, как тебе предписывают. Про репрессивность культурных норм нам ещё дедушка Фрейд много чего объяснил. Сильнее всего такой соблазн, понятное дело, у молодых – ещё недостаточно усталых и недостаточно прирученных, и вообще обладающих избытком времени. Но он и у взрослых на самом деле никуда не исчезает: разве что принимает другие формы. Чем настойчивее, чем безальтернативнее утверждается что бы то ни было, тем сильнее подозрение, что это не так. Потому-то, рано или поздно, пали все тоталитарные государства Новейшего времени с их претензиями на монопольное обладание Единственной Истиной и драгоценным доверием своих граждан. Слишком хотели доверия – ну и получили обратное.

Протестное сознание, как известно, обнажает катастрофический потенциал нормы. Выводит наружу то, что норма прячет от самой себя. Норма лицемерна – разве без этого она была бы такой устойчивой? Но той же норме необходимы и спосо-

<sup>99</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 21.09.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-09-21/8\\_nedoverie.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-09-21/8_nedoverie.html).

бы напоминания о том, что она как бы забыла: чтобы не забыла на самом деле. Только, пожалуйста, не от её собственного лица. А то опять же не поверят.

Самые разные культуры во все времена непременно заводили себе те или иные механизмы для канализирования протестной энергии, для её правильного – в согласии с обычаями данной культуры – изживания. От трибуны вольных ораторов в лондонском Гайд-парке до надписей на стенах и разговоров на кухнях, от колдовства до пьянства, от битья морд до сочинения стихов.

Существует и мнение, согласно которому экстремизм – крайние, агрессивные формы оспаривания тех или иных устоев культуры – плата за прогресс. Ведь прогресс, которым западный мир был пару столетий очарован, и есть постоянное преступание и разрушение культурой собственных границ, хроническое самоотрицание во имя чего-то ещё не достигнутого, зато предположительно более совершенного. Вот экстремизм и есть выражение такого стремления к идеалам – по своему понятиям – доведённое до своего предела. Если он и так уже работает на норму – тем, что подчёркивает, оттачивает, пусть даже утрирует какие-то её черты – так пусть работает на неё открыто.

А что, неужели проектов Министерства недоверия ещё никто не разрабатывает? Что-то не верится.

НЕ СПАСТИСЬ<sup>100</sup>

Среди многих странных человеческих обыкновений есть одно особенно странное: искать смысл жизни. Примечательно тут многое: и мучительный неуют в отсутствие такого смысла (ну хотя бы – успокаивающе-убедительного ответа на вопрос о том, что он такое) и, когда, наконец, что-то вроде бы находится – неуверенность и тревога: а то ли найдено?

И это при том, что смысл – неизбежен. Он агрессивен и всепроникающ. Смыслогенно буквально все человеческое. Подобный кошмар не снился, чувствую я, и самому царю Мида-су: к чему ни прикоснись, о чем ни подумай – везде будет ОН.

Мы состоим из смыслов – накопленных всеми поколениями до нас и, в общем-то, зависящих от нас в очень малой степени – если зависящих вообще. Мы их заложники и пленники. Они нам каждый шаг диктуют.

Правда, похоже на то, что в последние десятилетия кое-что стало меняться. Свидетельство этого – интерес к «истории повседневности», к судьбам и значениям бытовых, незаметных, неисторических вещей. Популярность таких изысканий – и у исследователей, и у читателей – не означает ли наступления новой эпохи в отношениях между человеком и смыслом?

В самом деле: обнаружено, наконец, коварное свойство вещей и действий накапливать в себе смыслы. Надеваем ли мы шапку или куртку определенного фасона или цвета, выбираем ли себе жилье определенного типа, обживаем ли его по некоему – хоть бы и целиком выдуманному! – сценарию, идем ли, наконец, просто в баню или даже отказываемся туда идти, предпочитая ей домашний душ – в каждом из этих совершенно невинных случаев мы попадаем в плен к программам действий, начавшимся помимо нас и задолго до нас. Вступаем в

<sup>100</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 19.10.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-10-19/11\\_nespastis.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-10-19/11_nespastis.html).

отношения, о которых, пожалуй что, и не помышляли. Становимся знаками того, с чем вроде бы вовсе себя и не связываем.

Может быть, теперь, наконец, когда историки и теоретики повседневности (самого-самого незаметного!) научились выявлять неявные значения вещей, мы научимся от них освобождаться? И строить свои отношения с ними на иных основаниях?

В самом деле: не потому ли человек с таким упорством ищет «смысл жизни», что не согласен на предлагающиеся?

И нельзя ли истолковать всю человеческую историю – как цепь попыток уйти от предложенных или навязанных, но почему-либо неудобных смыслов? Как войну человека со смыслами – за власть над ними? По крайней мере, за отношения с ними на приемлемых для нас условиях.

Уж не отсюда ли и, не к ночи будь помянут, «постмодернизм», которого только ленивый не пинал и не объявлял закончившимся? Не он ли соблазнил человечество радикальным проектом – освобождения от диктата и прессинга смыслов? Не он ли объявил их произвольными, легко открепляющимися от вещей-носителей и прикрепляющимися к чему угодно другому?

Человек ищет щели между вещами и нарощими на них смыслами, чтобы проскользнуть в эти щели и уйти незамеченным. Не тут-то было.

Потому что, кажется мне, у человека осмыслена – полна неизвестными для него и властными значениями – и сама бессмыслица. Нет, нет, не спастись.

## С КОЛДОВСТВОМ И БЕЗ КОЛДОВСТВА<sup>101</sup>

XX век не случайно оказался отмечен двумя увлечениями, которые на первый взгляд кажутся противоположными друг другу. С одной стороны, это – невиданная в прежние времена (даже в XIX-м веке, когда фантастика в знакомом сегодня смысле только появилась и должна была бы, по идее, очень будоражить) популярность фантастической литературы, а затем и кино. С другой – бум интереса к «сверхъестественному».

Почему кажется, будто эти вещи друг другу противоположны – понятно. Корень фантастики, да еще научной - вера в рациональную сторону человеческого существа. Суть оккультизма - стремление высунуться за пределы разума и – пусть даже вполне рациональными средствами! – пощупать то, что в них не вмещается. Фантастика повествует о человеческой экспансии вовне; оккультизм занят освоением внутренних пространств человека – вплоть до тех дальних областей, где они соприкасаются с нечеловеческим. Впрочем, фантастического это тоже касается.

Чуть менее очевидно, что это разные стороны одного и того же.

Основной травмой для людей минувшего века стало то, что многие искренне считали его величайшим достижением: «расколдованность» мира, как это называл Макс Вебер. Достижение (якобы) его прозрачности, выяснение (якобы) условий его принципиальной подконтрольности человеку. Отдельный вопрос, был ли мир и вправду так уж «расколдован», прозрачен и подконтролен, как одно время думали. Во всяком случае, вскоре выяснилось, что человек ничуть этому не рад. Опыта «расколдованности» мира – неважно, иллюзорного или нет, важно, что пережитого – человек не выдержал.

<sup>101</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 16.11.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-11-16/11\\_wizardry.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2006-11-16/11_wizardry.html) .

Ну что может быть невыносимее полного, исчерпывающего знания? Как свет прожектора в лицо: поневоле зажмуришься.

И оккультизм, и фантастику вызвало к жизни одно: чувство катастрофической недостаточности данного, доступного и понятного.

Все Новое Время напролет человека гнало вперед упорное стремление выходить за пределы достигнутого – подчинять себе все новые пространства. Не так уж важно, «внешние» или «внутренние». Главное, еще не освоенные – и обязательно освоить. Еще не подчиненные – и обязательно подчинить. Так сложилась целая культурная этика – ей повиновались и наука, и искусство, и социальная жизнь; устойчивый смысловой комплекс, который можно назвать «неврозом преодоления».

У фантастики и оккультизма – общая задача: так «покорять» мир, чтобы никогда его, на самом деле, не покорить. Так пересекать границу между известным и неизвестным, чтобы она всегда сохранялась. Чтобы мир оставался тайной.

Опыт его «расколдованности» если что и дал, так прежде всего – тоску по скрытому и недоступному. Но такому, которое и оставалось бы скрытым и недоступным. Чтобы можно было его домысливать, заселять до отказа своими ожиданиями и страхами, полу-надеясь, полу-опасаясь, что вот-вот из-за угла, такого вроде бы знакомого, вдруг возьмет да и выскочит – незванное, непрошенное, непредсказуемое – Что-То-Еще.

РАДИКАЛЬНО ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ<sup>102</sup>

От всех прочих существ человек отличается, как известно, тем, что его не устраивает жизнь как таковая. С ней непременно надо что-то делать. Преобразовывать.

Из этого изначального беспокойства выросло все то, что мы теперь называем мировой историей и культурой. Западная культура с ее техногенной цивилизацией, похоже, в особенности.

Приступы тоски по «естественному» и «изначальному», конечно, время от времени случаются. Любые революции – религиозные, социальные, культурные – происходят обыкновенно именно под такими лозунгами. Просвещение вот очень верило в «природу»... соответствующим, правда, образом представленную: в природу, принципиально понятную человеку, удобную для того, чтобы ее – пусть даже в совершенном с нею согласии! – преобразовать и преодолеть. А уж в том, что это делать надо – и в голову не приходило сомневаться.

И к чему все эти благородные стремления привели? Одна Великая французская революция чего стоит. Тоже позабытое естество восстанавливали. А наделали такого, что никакой природе в кошмарных снах не снилось.

Культура коварна. Она ставит человеку ловушки. Она – постоянное противоборство с неизбежным – иногда всерьез кажется обреченным предприятием: ведь только тем и занята, что преодолевает собственную основу.

Расплатой за разум оказалась отчаянная потребность в бессмыслице. Расплатой за культуру – стремление постоянно уйти от нее. Расплатой за то и другое стала тень, которую отбра-

<sup>102</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 07.12.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-12-07/11\\_ed.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-12-07/11_ed.html) .

сывают культура и разум с их позитивными программами: скука.

Животным никогда не бывает скучно. А человеку – постоянно. Хуже того, это его мучает. Настолько, что он изобрел себе целую отдельную область жизни: так называемые «развлечения»<sup>103</sup>. В нашу с вами эпоху масскульта эта область и вовсе готова слиться с культурой как таковой.

Развлечения, по самому своему устройству – точный слепок с породившей их культуры. Не зря исследователи так любят обнаруживать во всяческих забавах и увеселениях Большие, Серьезные смыслы: то улаживание отношений с сакральным, то консолидацию с социумом... То, что нас развлекает, говорит что-то очень существенное о том, каковы мы сами.

Столь же грустная, сколь, однако, и яркая судьба европейских певцов-кастратов<sup>104</sup> – не предельное ли выражение сути культуры как таковой? Они – результат стремления, ради пущей красоты и интенсивности жизни, радикально отредактировать природу. И ведь получилось же! Два века подряд так пели, что вся Европа с ума сходила. Может, и по сей день пели бы, не спохватись вовремя католическая церковь и не запрети это безобразие. А ведь этого могло бы и не случиться. И что? Скорее всего, ничего особенного. Музыкальная эстетика была бы, пожалуй, другой. И еще – жили бы среди нас эдакие своеобразные люди. Развивали бы свою субкультуру, защищали бы свои права, объединялись бы в партии... Культура – совершенно как природа: любое нарушение естества благополучно встраивает в систему своих равновесий. Увы.

<sup>103</sup> Упомянуты в связи с книгой: *Время развлечений: Otium в Европе XVIII-XX вв.* – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.

<sup>104</sup> Упомянуты в связи с книгой: *Патрик Барбье. История кастратов.* – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006.

ДАЛЕКО ЗАВОДИТ РЕЧЬ<sup>105</sup>

Книга задумана – и вовсю используется – как орудие власти над умами. А тем самым, разумеется – над телами и жизнями. Но эта палка – о двух концах.

Так, впрочем, и бывает с человеческими изобретениями. Особенно с такими, которые уж очень насыщены смыслами. Люди, имевшие хоть какое-то отношение к производству текстов, всегда это чувствовали. Поэтому любой власти так важно приручить интеллектуалов: не просто поуничтожать несогласных, а именно воспитать согласных, готовых работать на нее по велению сердца и искренне писать нужные ей книги. Кто владеет книгами – тот владеет историей. Кто бы спорил.

Однако вот беда: ни один текст сам к себе не сводится. Даже если это какая-нибудь инструкция к пылесосу.

И тут уж всякая опора из-под ног уходит: у того, кто хотел бы закрепиться на достигнутом толковании текстов – а тем самым и в данном историческом состоянии – на веки вечные.

Поэтому, когда в пору «перестройки» в толстых литературных журналах шли интересные, вроде бы, только критикам споры о том, как надо интерпретировать «классические» тексты отечественной литературы и что вообще следует к ним причислять – то была на самом деле борьба за историю. За власть над ней. За право ее толковать и создавать.

Ведь существует и такая странная вещь, как свобода вчитывания. И один из самых сильных соблазнов: соблазн интерпретации. Всякое слово, уходя своими корнями в бесконечные смысловые массивы, так и провоцирует человека на множество толкований – едва ли тоже не бесконечное. На это любили обращать внимание постмодернисты (потому-то постмодер-

<sup>105</sup> Опубликовано под названием «Соблазн интерпретации»: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 28.12.2006. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-12-28/9\\_soblazn.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2006-12-28/9_soblazn.html).

низм – пока не ушел в область заболтанных банальностей – столь многих раздражал). Но ведь так было задолго до того, как выдумали самое слово «Постмодерн».

Поэта – далеко заводит речь. Читателя она заводит еще дальше.

Таким соблазнам – при всем их коварстве – правильнее всего поддаваться.

Всякий текст – если всмотреться – дает возможность произвола. Но значит, и кое-чего более достойного, более дисциплинированного и осмысленного: свободы.

Вообще, то, что тексты принимает все новые формы, обзаводятся все новыми типами связи друг с другом, скорее обнадеживает.

В самом деле: как стало легко, благодаря компьютеру, устанавливать связи – хотя бы чисто технически – между разными текстами! Как стало легко добывать тексты, скачивая их из Сети, пересылая друг другу по почте, и делать их фактом собственного читательского опыта – который может теперь разрастаться во все стороны!

Развращает, скажете? Ведет к утрате формы, дисциплины, которые так замечательно воспитывались текстами, намертво фиксированными на бумаге? Делает человека поверхностным? Что ж, возможно.

Но ведь ничуть не менее верно и обратное. Именно это – как ничто другое – способно воспитать в человеке дисциплину и самоконтроль. Ведь отныне именно он, читатель, становится центром организации всех читаемых текстов. Узлом всех смыслов.

Впрочем... разве в эпоху пергаментных свитков было иначе?

## МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ<sup>106</sup>

Нынешняя старость – порождение проекта Модерна с его навязчивым стремлением к новизне и преодолению того, что имело несчастье уже состояться. Модерн впервые противопоставил поколения друг другу, превратил это противостояние в принцип и определил то содержание каждого из возрастов, которое сегодня кажется таким очевидным.

Если история – движение вперед, само собой разумеется, что кто впереди, тот и прав. Нарастающий возраст превращается хоть и в невольную, но непоправимую вину: отстал.

Неприлично не быть молодым. Молодая внешность, молодежное поведение – правила хорошего тона. Молодость – движение и творчество, старость – косность и рутина. Постаревший – в проигрыше.

«Стар – убивать. На пепельницы черепа!» Так воскликнул на пике Модерна один из самых ярких, самых типичных его поэтов.

По мере того, как спадает напряжение проекта Модерна, старость вытаскивает, как из-под снега. Выходят наружу ее забытые смыслы.

Человечество, утверждают демографы, стареет, и «последним возрастом» человека начинают интересоваться теоретики: философы, медики, социологи, психологи. Но тут есть чем интересоваться каждому из нас.

Розанов говорил, что детство и старость – два метафизических возраста. Небытие близко. Пленка бытия, отделяющая нас от него, в детстве еще тонка, в старости все тоньше и тоньше.

<sup>106</sup> Не опубликовано.

В старости к нам возвращается все. Возрасты в человеке, сменяясь, не столько друг друга вытесняют, сколько накапливаются, врастают друг в друга. В старости они – все вместе, в своей полноте. Суэта самоутверждения кончается, и мы наконец становимся самими собой.

Уже не надо соответствовать проектам. Уже не надо достигать целей и преодолевать препятствия. Уже можно, как в детстве, просто быть.

Старость – это свобода.

ИСКУССТВО ЗАБВЕНИЯ<sup>107</sup>

Момент начала своей жизни в Истории я помню с точностью до минуты. По крайней мере, мне долго так казалось.

Солнечным августовским днем, после бессонной ночи у транзистора, ловившего «Эхо Москвы» и западные «голоса», мы вышли на Арбат со стороны Смоленской, не подозревая, что, не дойдя до Гоголевского бульвара, окажемся уже совсем в другой эпохе.

Рядом, у Белого Дома, творилось что-то невообразимое. Там решались вопросы жизни и смерти. Там собрались люди, не знавшие, переживут ли они эту ночь. Ждали штурма. Из раскрытых арбатских окон наперебой говорило радио. Ситуация менялась от дома к дому, пока, дойдя до тогдашнего магазина военной книги, мы не услышали: гэкачеписты арестованы. Штурма не будет.

По Калининскому, к Кремлю, шли БТР-ы с российскими флагами. На тротуарах ликовала толпа: «Ельцин!!! Ура!!!..»

«Сумасшедшие», – сказал мой тогдашний спутник.

Вот с этого я многие годы отсчитывала собственное существование в Истории: с того момента, как события стали моим личным чувственным опытом. Когда пришлось не воображать, слушая и читая чужие пересказы, а видеть и слышать. Так и осталось, в одном клубке, неразделимо: ранний вечер, рев толпы, грохот БТР-ов, редкий солнечный дождь, головокружение от бессонницы, резкое нарушение внутренних равновесий.

Что это было «на самом деле» – нам предстояло узнать потом. Сомневаюсь, правда, что узнали.

<sup>107</sup> Опубликовано: Ex libris – НГ (Книжное приложение к Независимой Газете). – 18.01.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-01-18/11\\_zabvenie.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-01-18/11_zabvenie.html) .

Как относиться к происшедшему – СМИ всегда настойчиво объясняют сразу. Но проходит, по меньшей мере, несколько лет, прежде чем начинают складываться представления о том, как его «следует» понимать. И даже – стоит ли его понимать вообще. Отнести его к числу достойных внимания событий или к тому, о чем можно вообще не упоминать.

Все, что с нами реально происходит – это наш телесный и эмоциональный опыт. Но, оказывается, никакая это не история.

Исторические события вообще происходят лишь задним числом.

Чтобы стать не то что значительным, а вообще событием, жизни надо «отлежаться». Утратить с нами чувственную связь. Мы, пожалуй, и сами должны перестать верить, что это произошло с нами. Мы можем вспоминать его не прежде, чем как следует забудем.

Писать историю событий по-настоящему начинают тогда, когда они отрываются от живого мяса единственной жизни, вплетенной в ее неповторимые и преходящие смыслы. Тогда, по идее, она имеет хоть какой-то шанс стать не публицистикой, не выяснением отношений и отстаиванием интересов, а действительно Объективной Историей. (Надо ли говорить, что этим шансом она не очень-то пользуется? Но это уж другой вопрос).

История – искусство забвения.

Поэтому-то – хотя писанием истории люди занимаются по меньшей мере со времен Геродота (а когда-то, как пишет Александр Левинтов<sup>108</sup>, она и вовсе была единственной формой науки), они почему-то всякий раз делают это по-разному – даже описывая одно и то же. Поэтому-то они до сих пор не договорились, как надо это делать. И никогда не договорятся.

<sup>108</sup> Речь о книге: Александр Левинтов. Реальность и действительность истории. – М.: Аграф, 2006.

История – это то, чего не было.

## ТУТ-ТО НАМ ВСЁ И ОБЪЯСНЯТ<sup>109</sup>

Больным, как известно, человек становится не тогда, когда у него начинается что-то болеть. Впрочем, здоровым – тоже не тогда, когда не болит ничего. А случается все это, когда человек попадает в руки врача – или того, кто в данной культуре выполняет соответствующие функции. Вот он и растолковывает человеку, что с ним «на самом деле» происходит, как это называется, как к этому стоит относиться и как, главное, надо себя вести: каким правилам подчиняться, какие соблюдать запреты...

И если мы все это принимаем, соглашаемся довериться толкованиям специалиста-медика, передаем в его руки ответственность за наше собственное тело и делаем все, что он нам скажет – не знаю, насколько мы при этом излечиваемся, но безусловно начинаем играть обставленную множеством условий роль. Известна она под именем «роли больного». А объяснил, что это называется именно так, американский социолог Парсонс полвека назад.

Об этом, конечно, давно догадывались. Еще Ницше – большой знаток человеческих несвобод и их источников – писал о враче-полицейском, враче-адвокате и враче-дипломате: враче – носители правил, по которым объясняется тело и которыми регулируется его поведение.

Дальше – больше. XX век, любимым, если не сказать – навязчивым занятием которого было выискивать всюду культурные обусловленности, продвинулся на этом пути непредставимо далеко. Там, где люди веками и вообразить ничего не могли, кроме Природы, – стала обнаруживаться одна сплошная Культура.

<sup>109</sup> Опубликовано: НГ- Ex libris. (Книжное приложение к Независимой Газете). – 01.03.2007. - [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-03-01/9\\_culture.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-03-01/9_culture.html).

Так и выяснилось, что даже на теле нет буквально ни одного «живого» места – такого, происходящее в котором не было бы продиктовано вездесущей культурой. Оказалось, что тело и увидеть нельзя никак иначе, как только сквозь очки, надетые на нас культурой: что она показывает – то и увидим. Растолкует ли она, что в человеке циркулирует эфирная субстанция «рлунг» (ее, пишет Лев Этинген<sup>110</sup>, усматривали в теле медики старого Тибета) – и мы прилежно обнаружим в себе все признаки ее бега по «черным» и «белым» каналам, и регулировать научимся. Свяжут ли френологи выпуклости и впадины нашего черепа с жадностью или сладострастием – и определенные особенности собственных влечений и чувств нам тут же станут понятнее. То есть в самом деле станут.

Это сейчас специалисты склоняются к мысли, что в теле нет «лишних», а тем более «вредных» органов; все-де нужно – и аппендикс, и те самые несчастные железы, которые в порядке вещей вырезались еще лет 25 назад. Говорили: удалять! – и удаляли как миленькие. Это еще что: в середине XIX века врачи, бывало, советовали, чтобы не было кариеса, «прорезивать» зубы уже в детстве – и для этого разрезать раз 10-15, и поглубже, десны десятидневным детям. И разрежали: уверены были, что полезно.

И так – не только с болезнями, странностями и прочими отклонениями от «нормы». Это касается и самой «нормы» – собственно, ее в первую очередь.

Главное – вовремя вручить себя профессионалам, знатокам предмета. Тут-то нам все и объяснят.

<sup>110</sup> В книге: Лев Этинген. Мифологическая анатомия. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006.

## ГЛАВНОЕ - НЕ ПИШИ<sup>111</sup>

Текст – наверно, самое странное, что может случиться с человеком. Нет, я серьезно: текст – настолько особая, самоценная и самовластная реальность, что, честное слово, мы еще недооценили всех его возможностей. Всех опасностей – точно недооценили.

А ведь наша «логоцентричная» культура породила уже такую мощную текстовую стихию, что давно бы уже пора об этом задуматься.

Надо, конечно, признать, что кое-какие шаги в этом направлении уже делаются.

Западный мир – нас это тоже касается – выработал поистине виртуозную систему техник работы с текстом: культуру толкования. Вернее было бы назвать ее культурой подозрения. Проницательные науки – филология, лингвистика, психология, психиатрия – давно уже догадались, что текст выдает своего создателя (в общем-то и читателя тоже) с головой, проговаривается о нем буквально каждой деталью. Он весь – живая память, сплошные симптомы, только лови. Главное – повнимательнее всмотреться и правильно истолковать.

Таким-то образом толкователи и интерпретаторы всех видов – с помощью наших же текстов! – видят нас насквозь. Прочитывают даже то, в чем мы не проговаривались. Даже то, о чем и понятия никакого не имели.

Простые комбинации букв на бумаге сами по себе, без всяких наших усилий выболтают наши желания, склонности и странности, наше душевное устройство и человеческие связи, подробности нашего прошлого и вероятные варианты нашего будущего. А уж толкователи – можно не сомневаться – нас от души на основании всего этого опишут и классифицируют.

<sup>111</sup> Опубликовано: НГ- Ex libris. (Книжное приложение к Независимой Газете). –

Но все это – сущие пустяки по сравнению с тем, что способен сделать с человеком сам текст. О, он может многое. Да что там: попросту все.

Он человека себе еще и подчиняет. Попросту сам его создает, лепит во всех подробностях. Что прочитаешь – в то и прератишься. Что пишешь – тем и станешь.

Нам недостает, чувствую я, культуры защиты от текста.

У западного текстолобивого человека есть такая устойчивая иллюзия: текст – лучший способ освобождения от вне-текстовой жизни. Даже тот, который ты всего лишь читаешь: он всегда обеспечит тебя автономной, портативной реальностью. А уж если сам пишешь – и подавно: тут ты хозяин целого мира, малый демиург. Выращиваешь себе – и сам же заселяешь – любые пространства.

Разумеется, истинная несвобода подстерегает человека как раз там, где он чувствует себя свободнее всего.

Зря, что-ли, постмодернистам, не к ночи будь помянуты, повсюду мерещились одни сплошные тексты? Напрасно, напрасно это так раздражало их критиков, – им бы, напротив, насторожиться. Это еще только начало Великого Текстового Невроза западного мира. Никакая визуальность не спасет. По той простой причине, что и она – текст...

Хочешь быть свободным? Даже не вздумай искать этого в текстах. Только начни – вообще никогда не освободишься. Текст затянет тебя, засосет, превратит в себя. Ты уже не сможешь отличить себя от него. Не только не вырвешься, но и не захочешь этого.

Нет, нет, лучше не читай. А главное – не пиши.

## ЕЩЕ НАСМОТРИМСЯ<sup>112</sup>

Чем дальше, тем упорнее кажется мне, что национальность, она же этничность, была одной из самых неудачных, самых несчастных выдумок человечества. Пусть даже необходимой, пусть неизбежной, ладно, понимаю. Но безусловно неудачной – и безусловно губительной. Такой, от которой человечество теперь само не знает, как освободиться – хотя, должно быть, иной раз и радо бы. И не слишком, надо сказать, старается. Скорее наоборот.

Будучи раз выдуманной, национальность (как принцип, как угол видения мира и себя...) теперь уже диктует свои условия. Приходится им подчиняться.

Можно даже более-менее точно сказать, когда все это началось – не так уж давно, по сути дела. Самая интенсивная работа по конструированию национального, по приписыванию ей всяческих позитивных смыслов шла в западном мире с конца XVIII века – и весь XIX век напролет. XIX-й вообще был парадом национализмов: немецкого, еврейского, чешского, венгерского, польского, итальянского, греческого, албанского... Народы радостно изобретали самих себя. А люди, к этим народам принадлежавшие, обретали в национальных проектах свои самые убедительные смыслы, самые светлые идеалы и готовы были их отстаивать с оружием в руках.

Такая возможность вскоре предоставилась.

XX-й век стал веком национальных государств – и катастрофических войн, в которых самыми смертоносными аргументами оказались именно национальные. За этническую принадлежность убивали. Нет, уже не за веру, не за национальный язык, не за национальную культуру – у человека вполне могло не быть ни первого, ни второго, ни третьего:

<sup>112</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 26.04.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-04-26/7\\_etnos.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-04-26/7_etnos.html).

только за «кровь», что бы под нею ни понималось. И не только евреев во время Холокоста. По тем же причинам фашисты убивали цыган. Азербайджанцы в Баку в январе 1990-го, на последнем издыхании «союза нерушимого республик свободных» – армян. Албанцы – сербов. Сербы – албанцев. Хуту – тутси. Тутси – хуту. Арабы – израильтян. Израильтяне – арабов. Русские бритоголовые ребятки – всех, кто покажется им слишком черным.

Чем станет XXI-й – еще посмотримся. Но кое-что, согласитесь, уже видно.

И тем не менее – национальное соблазняет. Даже думающих, критичных людей – а может быть, их-то и в особенности. Оно умеет подавать себя как зона повышенной исторической – человеческой вообще! – актуальности и интенсивности; как более глубокий и осмысленный, чем «в среднем», контакт и с Историей, и, как знать, может, и с самим Бытием. Национальное, конструкт конструктов, умеет казаться человеку самым внутренним его существом, его личной, единственной формой. Его сущностью.

А ведь межчеловеческие различия проходят внутри каждого из нас. Раздирают каждого. Цельность – фикция (не потому ли люди так за нее цепляются?). Может быть, принадлежать лишь к одному из миров: национальных, культурных, смысловых, вообще человеческих – можно только ценой слепоты – добровольного самоослепления?

Честно говоря, неистово хочется быть человеком вообще. Всечеловеком.

## ОЩУПЫВАЯ ИНОЕ<sup>113</sup>

Похоже, потребность в том, чтобы жизнь не сводилась к осязаемому рукой и видимому глазом – одна из основных в человеке. Речь идет даже не о смыслах жизни (они-то как раз умеют целиком располагаться в пределах видимого и осязаемого, тому есть масса примеров), но об объёмах её, – о её, если угодно, количестве. Можно назвать это потребностью в «трансцендентном», «потустороннем», «сверхъестественном», «божественном» или, допустим, «духовном», но это все в конечном счете – не более чем слова. Выражая оттенки ситуации и нашего отношения к ней, они, однако, не меняют сути: чувство связи со всем, что может быть обозначено этими или какими-то другими словами, сообщает жизни человека укорененность, укрепленность в чем-то – как предполагается – надежном. В том, что – сохраняя чуткость к повседневным переменам – не подвержено притом повседневным разрушениям.

Поэтому человек, похоже, готов «накачать» религиозными или парарелигиозными смыслами все, что угодно. Он – как показывает опыт – способен чуть ли не в любом природном объекте или бытовом предмете увидеть стрелку, указующую за пределы осязаемого мира.

Религии как таковые – когда они есть – поставляют человеку для таких интерпретаций смысловой материал. Когда его в силу чего-либо (например, десятилетий атеистического воспитания) не хватает – он начинает изобретаться, извлекаться из дальних закоулков исторической памяти, комбинироваться из подручного материала (так возникает поклонение Ленину, Пушкину, царю Иоанну Грозному, «энергетически насыщенным» камням, деревьям, исполняющим желания, если ленточку привязать или записочку в дупло сунуть). Но смысловой материал этого рода непременно должен присутствовать в са-

<sup>113</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 31.05.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-05-31/11\\_inoe.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-05-31/11_inoe.html).

мом составе культуры. Он расширяет горизонты. Причем, как ни странно, даже тогда, когда вроде бы отсылает в явные тупики. Хотя бы уже потому, что напоминает: к видимому и осязаемому все не сводится. Действительно ведь не сводится.

Но потребность в Ином – только одна сторона дела. Вторая – ничуть не менее неотъемлемая – состоит в том, чтобы Иное было еще и человекоразмерным. Укладывалось в ожидания, согласовалось с привычками. То есть буквально: чтобы его можно было и увидеть глазом, и пощупать руками, и понюхать, и попробовать на вкус. Чтобы его можно было переживать повседневно, как часть вполне обыденного опыта. Или даже экспериментировать с ним, как в алхимии. Во всяком случае – что-то делать. Без этого никакого настоящего контакта с божественным и духовным не получается. Без этого он – для всех, кроме особо одаренных в мистическом отношении людей, которые всегда были в меньшинстве – не вполне убедителен.

Поэтому всякая вера обрастает бытом. Более того: на быте держится, через быт чувствуется, в быте воспроизводится. Зря, что-ли, одно из самых расхожих (и, спешу заметить, совершенно справедливых!) определений религии – любой – гласит, что она-де не столько система верований, сколько «образ жизни»?

## И НЕ ДОЛЖНО ПОЛУЧАТЬСЯ <sup>114</sup>

В европейской культуре (весьма вероятно, что не только в ней, но о других смысловых мирах судить не возьмусь) есть некоторое количество предметов, предназначенных специально для того, чтобы быть непонятными.

Они еще известны под названием «вечных» тем – таких, для которых каждое культурное состояние, каждая эпоха создает собственную версию, и, как правило, не одну. Это темы «навязчивые», обреченные постоянно воспроизводиться, вызывать в людях зудящее чувство недостаточности, а то и ложности уже накопленных толкований – и потребность в том, чтобы начать все с начала.

Соблазняют они по меньшей мере двумя своими особенностями: обманчивой ясностью и – значительно менее обманчивым – чувством того, что они имеют отношение к каждому. Поэтому, соответственно, каждый не только имеет право их толковать, но попросту вынужден это делать.

Свернуты такие темы обыкновенно в одно-единственное слово: настолько простое, что способное иной раз показаться даже бессодержательным. Заболтанным общим местом, которое давно уже не стоит специального внимания. А то и вовсе чем-то таким, чего попросту нет: тем, что люди себе в утешение придумали. Культурными конструктами.

Любовь. Счастье. Смысл. Судьба. Свобода. Вера. Бог. Жизнь. Смерть.

Разумеется, это культурные конструкты. Разумеется, их придумали. И продолжают придумывать. Но потому и придумали, что не делать этого не могут: это понятия-поводы, по-

<sup>114</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 19.07.2007. = [http://exlibris.ng.ru/tendenc/2007-07-19/7\\_nedolzjno.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/tendenc/2007-07-19/7_nedolzjno.html?insidedoc)

нения-стимулы. Понятия-вызовы, понятия-возможности. Если они и лишены – что, кстати, вполне вероятно – собственного, единственного и надежно фиксируемого содержания, то уж не для того ли, чтобы всякий раз заново это содержание порождать и провоцировать? Конструируя их, человек конструирует самого себя. Это корни, из которых он растет – и за которые никак не может сам себя схватить.

Та бесконечность, с которой все это повторяется, только кажется дурной. На самом деле как раз наоборот: это – бесконечность собирающая.

Такие темы – точки особенно интенсивной культурной памяти. В них хранятся все их понимания и значения, все связанные с ними образы, вымыслы, надежды, иллюзии, которые когда бы то ни было случились. И сколько бы этих пониманий ни набралось – всегда остается еще много-много места для будущих: мыслимых и немыслимых, возможных и недопустимых.

Это – резервуары смысла. Одна из самых надежных форм его хранения. Понятия-консервы. Понятия-семена.

Может быть – страшно вымолвить – неверных пониманий у них нет вообще. Они для каждого точно таковы, какими он их, на свой страх и риск, проживает.

И поэтому каждое поколение с энтузиазмом первопроходцев снова и снова принимается их толковать, в искренней надежде на то, что уж оно-то наверняка сможет предложить окончательное, оригинальное, исчерпывающее их понимание. Ну, по крайней мере, приблизиться к этому. Оригинальное – да, получается не так уж редко. Окончательное, тем паче исчерпывающее – увы. И не должно получаться.

## СКЛАДЫВАЕМ. ЗАСОВЫВАЕМ. ЗАКАПЫВАЕМ.<sup>115</sup>

Делается это, значит, так. Берем пузырек – небольшой, например, от лекарства: очень хорошо, если у него коричневое, таинственное стекло. Затем – фольга от конфеты: тщательно разглаживаем ногтем, аккуратно складываем – ну пусть вчетверо. Замечательно, если найдется что-нибудь цветное и яркое: пуговицы, бусины.

Засовываем все внутрь пузырька. Завинчиваем крышку. Теперь самое время закопать в каком-нибудь надежном месте. Между корнями пня. Под водосточной трубой. На пустыре, где старый строительный мусор.

Можно еще так: берем два плоских стеклышка. Между ними кладем цветок, картинку – не все равно какую, само собой, а такую, которая имела бы свое неповторимое значение для нас лично. Лучше всего – записку с чем-нибудь тайным. Скрепляем все это чем-нибудь. И тоже закапываем.

Впрочем, технология может быть какая угодно. У меня, например, в детстве – лет в восемь – были тайные знаки на оборотной стороне сидений стульев. А потом еще был собственный алфавит, чтобы писать им секретные письма – в основном самой себе.

Здесь ведь дело не в технологии, а в самом типе действия. В напряжении тайны, которое создается между тобой и предметом.

Главное, чтобы о секрете не знал никто, кроме тебя. Ну разве еще тех избранных, с которым ты захочешь этим знанием

<sup>115</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 02.08.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-08-02/5\\_skaldyvaem.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-08-02/5_skaldyvaem.html).

поделиться – и таким образом включить их в круг «своих», отгороженный от мира своей причастностью к тайне.

Ты прекрасно знаешь, что все это – игра и условность. Но того-то как раз и надо: не будь условности, не чувствовалось бы так остро.

Эта ерунда, эта выдумка образует в тебе громадное пространство. Которое ты уже можешь обживать и заполнять самыми настоящими чувствами.

Вот и взрослого точно так же создают выдуманные им же условности. Ведь чувства в них проживаются совершенно подлинные. Просто им нужно – заведомо искусственное – вместилище, чтобы они могли туда себя уместить и внимательнее рассмотреть; нужен заведомо условный знак, чтобы они могли себя обозначить – и опознать.

Условности, игры, ритуалы – язык. Не будь этих фикций, настоящее осталось бы немым. Они – дом: без них настоящему было бы негде жить. Они – зеркало – без них настоящее бы себя не увидело.

Любовь – тоже такая человекообразующая фикция. Да, да, и она. Ритуалы любви, ее мифология – тайные письмена, которыми человек пишет письма самому себе.

Ведь любовь загружена условностями так, как, наверное, мало какая из форм человеческого взаимодействия. Ей почему-то все время нужны препятствия, иносказания; очень точное, чуткое – не дай Бог сбиться! – действие по неписанным правилам. Позвонил – не позвонил; когда именно позвонил; что сказал, с какой интонацией, какими словами; как посмотрел; как и на что намекнул... Так она всем этим загружена, что было бы не продохнуть... – если бы эти условности не одушевляло нечто очень настоящее. Случается, даже более настоящее, чем мы сами. Может быть, только благодаря условностям мы иной раз и способны это настоящее вынести.

## В УСЛОВИЯХ СОБСТВЕННОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ<sup>116</sup>

Очень возможно, нам еще предстоит вспоминать семидесятые годы прошлого века – так называемый «застой» – с тем же пристальным вниманием, с каким сегодня вспоминается до малопонятности чужой мир дворянской культуры.

Нет, я говорю вовсе не о ностальгии – через нее мы проходим уже не первый год. И не о домысливании позднесоветской жизни – неотделимом от ностальгии или, что то же, от «отрицательной» ностальгии – отталкивания. Я говорю о внимании столь же благодарном, сколь и критичном – о беспристрастном (насколько это вообще возможно в отношении человеческих дел и обстоятельств) анализе того, что волновало совсем недавно, того, что и сегодня еще с трудом отделяется от нашего образа себя. О взгляде историка и антрополога, перед которым не будет стоять ни задача самооправдания, ни задача освобождения от предмета своих исследований.

То, что случилось с русскими дворянами после семнадцатого года, после девяносто первого произошло со всеми нами: со всеми, кто успел стать взрослым в странной далекой стране под названием Советский Союз. Нет, безусловно, в ряде отношений эти ситуации несравнимы: все-таки опыт большинства из тех, кто пережил Советский Союз, не был таким уничтожающе-травматичным, и речь о смертельной опасности для нас шла лишь в исключительных случаях.

Но мы оказались в другой стране. Оказались вынуждены обживать новую для себя экономическую, социальную, культурную ситуацию – не имея в арсенале средств для такого об-

<sup>116</sup> НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 16.08.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-08-16/7\\_nevozmozhnost.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-08-16/7_nevozmozhnost.html).

живания не было решительно ничего, кроме (заведомо, казалось бы, неадекватных!) привычек и ценностей, успевших сложиться в пору нашего становления – в те самые семидесятые.

Неминуемым следствием этого было на первых порах чувство своей ненужности, неадекватности, невозможности. Прошло, конечно – в какой-то мере.

И вот все чаще думается, что интеллигентские семидесятые с их идеализмом, с их «избыточным» чтением, с обостренным вниманием к искусству, «духовной жизни», с их вкусом к сложному и неявному – способны еще оказаться важным ресурсом человечности.

Так дворянская память, казалось бы, архаичная, нефункциональная – ценность которой победители-большевики некогда начисто и весьма агрессивно отрицали – оказалась не только помехой для вхождения в новую жизнь, но и важнейшим ресурсом для выживания в ней. Причем не только для дворян, но и для людей из других сословий. Прямыми наследниками «старой», «настоящей интеллигенции», в которую превратились бывшие дворяне, оказались интеллигенты советских семидесятых: с характерным для этого сословия обостренным вниманием к культуре, вкусом к самоформированию, с типичным для них – с полуслова, с полуинтонации – угадыванием «своих». Дворянская память оторвалась от дворянского «субстрата» и вошла в фонд общечеловеческого опыта.

Так и с – осмеянной, нелепой, полной, казалось бы, иллюзий и преувеличений – интеллигентской культурой семидесятых. Она нам еще пригодится.

## ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА<sup>117</sup>

Нет ничего более придуманного, чем так называемая реальность. Человеческой реальности это касается, кажется, особенно.

Она просто напрашивается на то, чтобы быть придуманной. Провоцирует на это. Она для этого прямо-таки создана.

То, что мы – с превеликим усилием (насилием?...) отделив его от химер, призраков, фикций и иллюзий – называем «реальностью как она есть», то, что можно пощупать пальцами и понюхать ноздрями – лишь исходный материал для реальности. Он (почти?) не существует для нас без его обработки: без толкования и домысливания. Фикции, химеры и призраки – необходимые формы смотрящего глаза. Без них он попросту ничего не увидит.

Человек вообще, кажется, постольку человек, поскольку конструирует, изобретает, домысливает и самого себя, и все, с чем ему приходится иметь дело. Под его руками, еще похлеще, чем у царя Мидаса, в вымысел превращается все, чего он ни коснется. И нет более обреченной на поражение задачи, чем провести четкую границу между «вымыслом» и «смыслом». Они не просто порождают друг друга: они состоят из одного вещества, они – разные облики одного и того же. Бывает, они друг друга не узнают, но это уж отдельный вопрос.

«Реальность» – вся – черновик человека: он затем ее и придумывает, затем и мнет, как Бог ему на душу положит, ее сырой и как будто неподатливый материал, что только так он может стать самим собой.

<sup>117</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 23.08.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-08-23/7\\_chernovik.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-08-23/7_chernovik.html) .

Он придумывает – то есть моделирует, формует, создает – самого себя не только словами, но и образами: всем, что изображает, всем, что видит. Предметами, которые выбирает для своего окружения. Фотографиями и видеозаписями, на которых с большой, казалось бы, достоверностью фиксируется эта самая «реальность». Каждой случайно принимаемой позой, каждой деталью своего облика: пуговками, воротничками... Городами, в которых живет. Улицами, по которым ходит.

Я уж не говорю о таких глобальных вещах, как, например, концепции исторического процесса. Представлений о том, как «на самом деле» развивается, допустим, цивилизация. Да как мы ее выдумываем, так она и развивается. Тем самым – в процессе того – и развивается, что мы ее выдумываем.

Придуманное – организует нас и ведет. Обретя самостоятельность, оно становится способным влиять и испытывать влияние – как всякая реальность.

Стоило бы поэтому, думаю, относиться внимательно даже к самым диким концепциям и умственным конструктам. Ни один из них не возникает без оснований. Наши собственные вымыслы – не единственный ли язык, которым говорит с нами Объективная Истина? Не тот ли, во всяком случае, единственный Ее язык, который мы способны слышать?

Вот бы только еще правильно истолковать услышанное. Но это опять-таки – отдельный вопрос.

В отличие от многих замечательных вещей, которые стоило бы выдумать, если бы их, не приведи Господь, не было – реальность следует выдумывать уже в силу того, что она есть. Это, похоже, главный – как знать, может, и единственный! – способ ее – да и нашего – существования.

## ВОТ ТОЛЬКО ЛЮБВИ НЕ НАДО<sup>118</sup>

Вряд ли кому удалось остаться более неслышанным и непонятым, чем так называемым великим мыслителям.

Судьба безвестных маргиналов-одиночек, всю жизнь трудящихся в своем глухом углу над конструкцией очередного вечного двигателя, в некотором смысле даже завиднее. Да, высоко вероятно, что никто их так никогда и не заметит – но зато никто и не припишет делу их жизни такие смыслы, которые им самим и в голову бы не пришли. Их интеллектуальное наследие аутентичнее.

То ли дело – те, кому рок судил стать достоянием массового интереса и внимания. А того хуже – массовой любви.

Люди воспринимают в тех, кого назначают великими, в основном то, что нужно им самим. «Великие» нужны затем, чтобы своим авторитетом подкреплять наши ожидания. Придавать нашим иллюзиям статус объективных форм бытия.

Самые любимые, самые зачитанные книги – на самом деле наши собственные, разбухшие от заметок, записные книжки-палимпсесты. Одно стираем, другое поверх записываем... и хотя эти слои, конечно, друг сквозь друга просвечивают, менее всего там можно в результате разглядеть написанное самим автором.

Так в Мерабе Мамардашвили<sup>119</sup> – в одном из самых индивидуальных, «штучных» мыслителей нашего века – целое поколение слушателей, битком набивавших перед ним аудитории – не прочитало, по сути, ничего, кроме этической доминанты

<sup>118</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 27.09.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-09-27/10\\_nolove.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-09-27/10_nolove.html).

<sup>119</sup> Упоминается в связи с книгой: Нелли Мотрошилова. Мераб Мамардашвили: философские размышления и личностный опыт. Научное издание. – М.: Канон+, РОССИ «Реабилитация», 2007.

(которую каждый быстренько нагрузил удобными для себя значениями и до сих пор с ними живет). Да, в этом действительно нуждались. Да, он действительно многим очень помог – уже самим своим присутствием в отечественной культуре. Но не в результате ли этой всеобщей взволнованной, искренней любви он так и остался без серьезных философских последствий?

Вся надежда – на то, что пройдет время, и за осмысление того же Мамардашвили возьмется человек, родившийся много позже эпохи, в которую его герой был нужен и актуален.

Но вот беда: чем ярче материал – тем сильнее соблазн для нового читателя приписать ему новые значения – важные опять же для него самого.

Думал ли, право, Игнатий Лойола, что главное дело его жизни – изобретение языка, подчиняющего себе человека?<sup>120</sup> Приходило ли в голову маркизу нашему де Саду, что заботит его не наслаждение и разврат, а выстраивание порядка, согласно которому выполняются все связанные с ними действия? Сам социалист Фурье, пожалуй, хмыкнул бы в недоумении, сообщи мы ему, что суть его усилий – не что иное, как классификация реальности. А вот один постструктуралист именно это в них и обнаружил – это, видите ли, соответствовало сути и задачам его собственной интеллектуальной работы.

Что касается Лойолы, Фурье и Сада, то так им, по большому счету, и надо. И потом: ими хотя бы занимаются, исследуют, анализируют, пытаются понять, чего они «на самом деле» добивались (что ценой сдирания живого мяса с костей – это другое дело). Но за Мераба Константиновича обидно.

Пусть читают, пусть толкуют, пусть стараются понять – пусть даже превратно. Вот только любви, ради Бога, не надо.

<sup>120</sup> Речь о книге: Ролан Барт. Сад, Фурье, Лойола/ Пер. с франц. Б.М. Скуратова. – М.: Праксис, 2007.

## ТЕКСТ ОБРЕЧЕННЫЙ<sup>121</sup>

Ну для чего мы все это пишем? Честное слово, занятие настолько избыточное в целом ряде отношений, что, право, стыдно иной раз становится.

Изо дня в день, с той или иной степенью регулярности, описывать то, что с тобой происходит. Притом, разумеется, так, чтобы никто другой не прочитал – неловко ведь! Описывать и складывать.

Ваш покорный автор этих строк, например, занимается этим странным делом аж, смешно сказать, с шести лет. Тридцать шесть лет в этом году будет. Вопросом, сколько потребуется времени, чтобы все понаписанное просто хоть однажды перечитать подряд – лучше и не задаваться. Куда конструктивнее было бы задаться вопросом, где тетрадки хранить, потому что выбросить жалко, а складывать-то уже и некуда.

Ну, конечно, какие-то побочные продукты у этого процесса все-таки есть. Какое-никакое владение словом вырабатывается (впрочем – разве его нельзя вырабатывать на более общезначимых текстах, адресованных хоть каким-нибудь читателям?). Еще можно уточнить по записям, когда случилось то или иное событие, если вдруг забудешь. Это, правда, в случае, если ты действительно события записываешь. А то ведь, бывает, десятками страниц подряд – одна сплошная внутренняя жизнь; ну кому это надо?

Кое-что способно стать, однако, понятнее, если задуматься над тем, что дневник, может быть, – это вовсе не тип текста, как, казалось бы, есть все основания думать. И даже не совокупность типов. Это – такое особенное отношение к жизни.

<sup>121</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). - 11.10.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-10-11//11\\_text.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-10-11//11_text.html).

Для которого культура всего лишь изобрела – надо признать, счастливо – письменную форму.

Он и не для перечитывания пишется. Нет, перечитать, конечно, можно, – иной раз узнаешь о себе неожиданно много интересного. Но это не обязательно. И глубоко вторично по отношению к самому процессу письма.

Дневник – текст, который не имеет массы покоя, который существует по-настоящему лишь тогда, когда пишется, и до тех пор, пока пишется. То, чем забиты несколько книжных полок у нас за спиной – на самом деле вовсе не он. Это всего лишь его следы, и какая в конце концов разница, где они все будут пылиться после того, как мы утратим уже всякую возможность перечитать что бы то ни было. Буквы на бумаге – лишь отходы смыслового производства. По существу, довольно случайные.

Дневник – заговаривание хаоса. Усилия противопоставить внутреннему (да и внешнему тоже) хаосу наш маленький, вполне соразмерный нам – что важно – логос. Усилия вполне обреченные, логос-то маленький, а хаос воспроизводится с завидным постоянством.

Дневник – область нашего произвола, нашего заговора с самими собой – против мира; территория, на которой мы ведем с миром сложную игру: будто бы принимая его условия, на самом деле – с помощью этих же условий и условностей – мы преодолеваем его. Боремся с ним. На только нам видимых площадках. Но ведь этого уже довольно.

Мы даже выходим победителями. Выходим, выходим. Каждый день. По крайней мере – пока последняя тетрадка не кончится. Пока не остановится пишущая рука.

## В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И НА САМОМ ДЕ- ЛЕ<sup>122</sup>

Самое удивительное в прошлом – оно же, однако, и самое трудное в нем – то, что прошлое, сколько бы это ни казалось странным – действительно было.

Вообще поверить в то, что все оно было придумано – гораздо легче. Естественнее как-то. Особенно в свете того, что проделывали с прошлым решительно все, кажется, культуры в мировой истории. И продолжают проделывать, и будут продолжать во веки веков.

А творят с ним вот что: из него делают себе настоящее. Любое настоящее – какое захотят, такое и делают. И даже, если очень постараться – будущее. Все воспоминания пишутся только ради этого.

Как себя помним – так себя и ведем. Как себя придумаем – такими и станем.

Поэтому-то ни одно событие не обнаружит вполне своей ценности, пока из живой, быстротекущей и изрядно упрямой реальности не превратится в Прошлое. Как только событие станет им окончательно – на него сразу же набросятся все, кому не лень. Отныне всякий свободен насыщать минувшее любыми толкованиями, приписывать ему любые смыслы. Кто-то может делать из него идеологию, кто-то – поэзию, кто-то – философию, кто-то – науку историю, уверенную, что она-то уж имеет дело с чем-то совершенно объективным. Кто-то – рассыпать его на байки и сплетни. Прошлое – оно ведь безот-ветно.

<sup>122</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). – 25.10.2007. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-10-25/10\\_reality.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-10-25/10_reality.html?insidedoc)

Вся ностальгия по прошлому и утраченному, породившая один из наиболее мощных пластов мировой литературы и мысли, а также и повседневной жизни любого из нас с вами – именно от этого. Прошлое – надежный сейф для хранения самых дорогих сердцу образов и чувств, – сколько ни вкладывай – все поместятся. Оно никогда не проговорится о том, как все было «на самом деле».

Мы лепим его по своему образу-подобию. Романтики помнят высокие смыслы. Оптимисты – то, что наконец-то преодолено. Моралисты – старое доброе время. Циники – грязь и мерзость. Мелкие – мелкое. Крупные – крупное. И ведь все правы – Боже мой, абсолютно все.

Когда человек – после многовековых неудачных подступов к фотографии – наконец-то ее изобрел, на протяжении некоторого исторического времени могло казаться: теперь прошлое – под надежной защитой. Теперь можно не сомневаться: оно было; и было именно таким, каким показывает его фотоотпечаток; теперь-то оно гарантировано от домысливаний.

Надо ли говорить, что эффект получился как раз противоположный? Техника останавливания реальности сделала прошлое таким уязвимым, каким до середины XIX века оно не бывало никогда.

Ничто так не провоцирует выдумывать прошлое, как фотография. Теперь его можно выдумывать еще и именем самой правды. При помощи фотографии человека легко убедить в чем угодно, хоть в том, что он летал на воздушном шаре, на который вообще-то нога его в жизни не ступала.

Мы живем в действительности наших образов прошлого – в самой реальной действительности, ибо сильнее всего, убедительнее всего влияет на нас – на наши поступки, решения, душевные состояния... – именно она. И что за дело ей, в конце концов, до того, что, как и почему было «на самом деле»?!

## ОДНО СЛОВО – СРЕДНИЕ<sup>123</sup>

Похоже, человеку непременно нужны вещи, от которых он не мог бы – даже при всем, как может показаться, желании – освободиться. Навязчивые идеи, если угодно, да. Когда таких не находится, их изобретают, накачивают необходимыми смыслами – и запускают в культурный оборот. Одна из таких вещей – даже, строго говоря, не столько идей, сколько комплексов плотно сросшихся представлений, образов, чувств – циркулирует в этом обороте на протяжении уже нескольких веков (считай с Ренессанса – не ошибешься; именно тогда изобрели интересующую нас идею итальянские гуманисты). Имя ей – «Средневековье».

Какими бы содержаниями ни наполняли в разное время образ «Средних веков» – а содержания случались максимально разные, вплоть до сугубой противоположности – к нему как-то никогда не удавалось относиться вполне равнодушно. Либо притяжение – либо отгалкивание. Либо мрак и ужас косного варварства, либо – тайна и глубина чудотворной подлинности.

Это все потому, что «Средневековье» – понятие изначально оценочное.

Гуманисты – которым мы вообще обязаны многими своими умственными привычками и очевидностями – именно в этих целях и придумали Средние века: темный провал между сияющей античностью и Новым временем, которое – если хочет быть действительно новым – должно ориентироваться на античные идеалы и поскорее оставить в прошлом века, в которые античность была (как они были уверены) забыта. Невнятные, глухие, никакие времена. Одно слово – Средние.

Тем самым была заготовлена крайне своеобразная смысловая ниша: для помещения в нее всего, чему хочется так или иначе себя противопоставить.

Потому-то Средние века – наша навязчивая идея. Один из самых расхожих ярлыков западной культуры.

Там можно разместить волнующий идеал (до которого нынешним, знамо дело, не дотянуться, хотя стараться, конечно, надо). Со времен романтиков, разочаровавшихся в Просвещении, это стало очень даже обычным. Или, например, увидеть там особо интригующий объект исследования – а хотя бы и просто дилетантского интереса. Зря, что-ли, воображение столь многих наших современников будоражит культура средневековых кельтов? Живи эти самые кельты в древности, кто бы о них вспомнил? Древность – это чересчур далеко. То ли дело Средние века: это почти рядом. Рядом – и все же другое. Близко – и ускользает.

А еще очень эффективно Средними веками пугать. Это даже расхожий топос современной публицистической речи: погружаемся, мол, в Новое Средневековье. Утрачиваем светлые идеалы, завоеванные Ренессансом (а что там своей темноты хватало, так кого же это волнует?), и поэтому теперь нас ожидают такие ужасы, которые были возможны, разумеется, лишь в Средние века с их дикостью и упадком.

Средние века – наше Другое. Какими бы мы ни оказывались – в любом случае Другое и всегда – наше. Потому они и восприимчивы к любым содержаниям, которые в них будут вложены, что собственного содержания у них никогда и не было. Одно слово – Средние.

## ВСЕ РАВНО – ПО ЖИВОМУ<sup>124</sup>

Культурные различия – любимая и навязчивая идея современной мысли. Причем совершенно независимо от ценностных ориентиров этой последней. Эта идея представляется настолько респектабельной и всеоправдывающей, что даже расизм – как пишут знающие люди – нынче изъясняется не иначе, как в терминах мультикультуралистского дискурса. Множественности культур. Несводимости их друг к другу. Непроницаемости их друг для друга. Шпенглер, должно быть, в гробу переворачивается.

Национальность, предмет романтического воодушевления европейского Нового времени, к началу нашего столетия превратилась в нечто чрезвычайно неудобное, если не сказать – взрывоопасное, – не утратив притом, как ни парадоксально, ни эмоциональной, ни теоретической, ни, пуще того, политической привлекательности. Нашему времени она предстает в облике актуального понятия «идентичности», скептический и жесткий анализ которого предлагает в начале своей книги Владимир Малахов<sup>125</sup>.

Представители других народов, – полагает, по словам Малахова, нынешний расист, – «не ниже и не примитивнее нас». Они просто «радикально другие. Их инакость означает их принципиальную несовместимость с нами, пусть корень этой инакости и не в крови (не в генах, не в биологическом строении), а в “духе”. Или, пользуясь более современной терминологией, – в культуре». Выходит, чаемое изгнание «чужих» («черных», «мусульман», кого бы то ни было) – или хотя бы ограничение сферы их воздействия на «нашу» жизнь – это

<sup>124</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). – 06.12.2007. - [http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-12-06/9\\_pozhivomu.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2007-12-06/9_pozhivomu.html?insidedoc).

<sup>125</sup> Владимир Малахов. Понаехали тут...: Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2007.

вовсе не дикость какая-нибудь. Это забота о национальной идентичности. И уважение к культурному многообразию.

Сегодняшнее сознание одержимо идеей, интуицией, фантомом границ и различий. Можно, конечно, сказать, что это – реакция на пресловутую глобализацию со всеми стереотипами, которые она неминуемо навязывает. В какой-то мере, конечно, так и есть, – правда, началось это несколько раньше. Под знаком «Другого», «границы», «различия», их проблематичности и притягательности, равно мучительных и равно интригующих – прошел весь XX век. Да и XXI, похоже, направляется пока туда же.

Любая граница – та самая, которая нам много чего диктует, определяет наши возможности и невозможности, и защищает нас, и стесняет – всякий раз проходит там, где мы сами ее проводим.

Это я не к тому, чтобы и вовсе ее не проводить: не выйдет. Хотя бы потому, что всякому взгляду, всякому чувству нужны опоры и преграды. Нам не воспринять предмета, если у него не будет границ – за которыми начинается его невозможность.

Это я к тому, что она всегда может быть проведена и иначе. Вот это хорошо бы помнить – и крайне аккуратно обращаться с границей. Чувствовать ее проницаемость. Ее условность. То, что, пытаясь отделить «чужое» от себя, мы не только Другого, но и себя режем по живому мясу.

И вообще, отчего бы, наконец, не вспомнить такую архаичную, наивную, многократно осмеянную идею, как – общечеловеческое?

Ведь как ни режь – все равно получается по живому.

## ФОРМА НОСА И СМЫСЛ ЖИЗНИ<sup>126</sup>

Кажется, чтобы нечто естественное, едва ли не разумеющееся само собой стало для человека по-настоящему убедительным – да что убедительным! – даже, наверное, хоть сколько-нибудь интересным – человек должен его придумать.

Я уж не говорю о том, что вымышленное никогда не подведет – это только настоящее, оно же природное, капризничает, ускользает, ставит нам условия и вообще ведет себя, как ему вздумается. Чтобы укротить вещь и подчинить ее себе – по крайней мере, достичь известной уверенности в том, что мы ее подчинили – ее надо как следует истолковать, проинтерпретировать. То есть опять же – придумать.

В этом смысле исключительно показательна культурная судьба такого, казалось бы, простого и, как правило, физиологически несомненного явления, как принадлежность человека к одному из Богом данных полов. Несмотря на то, что эта принадлежность существует примерно столько же, сколько человек себя помнит, интенсивный теоретический интерес она стала вызывать только в XX веке, породив огромный пласт интеллектуальных усилий под названием «гендерные исследования».

Внезапно оказалось, что пол – проблема. Что он совсем не так разумеется сам собой, как в простодушии своем полагали наши предки. Что на самом деле он, точнее, социокультурный пол, или гендер – сложная система символов, умыслов и вымыслов. Что он – целый язык, который еще необходимо выучить, прежде чем выговоришь на нем самого себя. В некотором смысле – набор фикций, без которых, однако, ты ни за

<sup>126</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 24.01.2008. - [http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-01-24/8\\_nos.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-01-24/8_nos.html).

что не станешь реальностью. В том числе, кстати, и для себя самого.

«Гендер настолько заслоняет собой пол, – иронизируют над ситуацией российские философы Надежда Ершова и Людмила Мясникова, – что женщина его лишается, становится набором символов и цитат»<sup>127</sup>.

И при всем при этом – заметьте: именно пол как биологический факт, вкупе с некоторыми довольно неизбежно следующими из него вещами, вроде, например, сексуальности или семейных и родственных связей, а заодно и гендерной роли – становится точкой опоры в ситуациях «смыслового дефицита», неопределенности исторических перспектив и ненадежности предлагаемых идеологий.

«Когда история становится фантомом, – пишет бывший отечественный, а теперь американский антрополог Сергей Ушакин, – когда социальная неопределенность оказывается постоянным условием существования, именно пол, точнее – идея возможной половой идентичности, служит тем фундаментом, который способен произвести необходимый стабилизирующий эффект»<sup>128</sup>.

А все почему? Не потому ли, что придумали как следует? То есть – смыслами накачали. Превратили в большое, надежное хранилище смыслов едва ли не на все случаи жизни.

...Погодите, мы еще доживем до того, что опорой в жизни, источником ценностей и ориентиров станут такие не слишком замечаемые до сих пор, – во всяком случае, не доставляющие вроде бы пока особых теоретических хлопот вещи, как форма носа или цвет волос на голове. А что, разве уже не становятся?

<sup>127</sup> Цитируется книга: Надежда Ершова, Людмила Мясникова. Путь к себе: женщина между полом и гендером. – Екатеринбург: Издательство Гуманитарного университета, 2007.

<sup>128</sup> Цитируется книга: Сергей Ушакин. Поле пола. – Вильнюс: ЕГУ; М.: Вариант, 2007.

## НИЖЕ УРОВНЯ СМЫСЛА<sup>129</sup>

Когда-нибудь позиция и накрепко связанная с ней стилистика Алексея Нилогова станут предметом исследований. По нему будут писать статьи, защищать диссертации, собирать конференции, издавать сборники и монографии. Студенты будут прогуливать лекции по Нилову в университетах и упорно зубрить его произведения в последнюю ночь перед экзаменом.

Тогда-то мы и прочитаем о смыслах и исторических корнях ниловского интеллектуального поведения. Например, о том, что суждения Нилогова о философии и философах, которые сейчас кажутся нам (нарочито) размашистыми и (нарочито же) упрощающими и поверхностными, а то и попросту сказанными назло (никто, мол, не решается сказать, а я вот скажу – и погляжу, как вы все будете себя чувствовать!), на самом деле – часть продуманной и сложной интеллектуальной стратегии, выводящей к чрезвычайно – может быть, предельно – глубоким вещам.

Скажем, как часть стратегии деавтоматизации: не только мышления – восприятия вообще, общего чувства мира, из которого возникает всякое мышление. Стратегии, выбивающей из-под человека привычные опоры, лишаящей его автоматизмов и инерций. Воздействия – как говорил Жиль Делёз об Антонене Арто<sup>130</sup> – «ниже уровня смысла»: чтобы обеспечить новые условия возникновения смысла, нет, даже – заставить смысл возникать иначе. Заставить его быть усилием, а не привычкой. Заставить человека пережить принципиальную нега-

<sup>129</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. – 07.02.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-02-07/7\\_smysl.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-02-07/7_smysl.html)

<sup>130</sup> Упоминается в связи с книгой: Вадим Максимов. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб.: Гиперион, 2007.

рантированность мысли – и собственного статуса. Социально-го, экзистенциального... – любого.

«Вспомнить философию до лучших философских времён – до несвоевременности всех философских вопросов, – когда уже больше не достанется досуга для философии, а может быть, и от философии, – когда звание философа станет самым последним ругательством, а геноцид философов войдёт в антропологическую моду, – когда философствование сведётся к передержке эмоциональной реакции, – к философии как гормональному расстройству, при котором образ жизни (генотипаж) философа слиняет из естественного и противоестественного модусов в искусственное философствование на заданную проблему – по забиявкам философских трудящихся...»<sup>131</sup>

Не надейтесь, это не конец, там такого ещё на полторы страницы.

То, что мнится не имеющим отношения к философии, предстанет нам как самая её сердцевина.

А мы будем гордиться тем, что были его современниками. Перечитывать написанное им тогда, в двухтысячных, и заново определять своё отношение к этому.

Однажды любая бравада и провокация входит в общекультурное русло, становится нормой, классикой, рутиной, а затем и архаикой.

То, что делал французский реформатор театра Антонен Арто, тоже не слишком вмещалось в понимание его современников. Кто-то раздражался, кто-то недоумевал, кто-то отмахивался: ну сумасшедший, что ж вы хотите. Глубокие смыслы в нём начали обнаруживать уже после его смерти. До сих пор обнаруживают.

Так где же эта глубина? В самом событии – или в его толкователях?

<sup>131</sup> Цитируется предисловие к книге: Кто сегодня делает философию в России. Том I / Автор-составитель Алексей Нилогов. – М.: Поколение, 2007.

## ШАГНУТЬ – И ВСЁ<sup>132</sup>

Сказать, что тело – навязчивая тема западной мысли в последние два столетия, – практически ничего не сказать. Оно – само ее условие, без него, кажется, мысль – по крайней мере, опять-таки, западная – давно уже не отваживается мыслить самое себя.

Самое удивительное, что тематика тела и всяких связанных с ним, реальных и предполагаемых, теоретических возможностей по сию пору сохраняет привкус новизны и даже некоторой дерзости, хотя, согласитесь, в возрасте полусотни лет быть новым несколько затруднительно. Чтобы оставаться в статусе открытия, «тело» и «телесность» изобретают себе все новые и новые символы, обнаруживают себя во все более неожиданных областях бытия. Вот уже и язык с социальностью вполне освоены как продолжения и порождения тела. То ли дальше будет!

Да, спекуляции ранней физической антропологии – которые сегодня могут казаться наивными – уже давно вроде бы стали достоянием истории. И тем не менее мыслители самого разного характера, с самыми разными пристрастиями и ценностями, сколько бы ни расходились между собой – и по сей день настойчиво пытаются обрести в теле и его обширных (вплоть до культуры в целом) последствиях самую надежную, безусловную и объективную опору. В точности как в XIX веке, когда на всеобъясняющую мощь биологических аргументов в понимании человека и его мира надеялись и либералы, и консерваторы-колониалисты.

Вряд ли, однако, стоит слишком обольщаться. С высокой вероятностью «тело», «телесность», диктуемые ими связи и

обусловленности – точно такой же Большой Миф западной мысли, каким на протяжении гораздо еще большего количества столетий был дух с его производными.

То есть, я никак не имею в виду, что это фикция – Боже избави. Всякий миф потому только и действен, потому только и претендует на человека-целиком (а главное-то – очень легко получает требуемое), что никакая он не фикция, а реальность посильнее иной действительности.

Тело претендовало на человека усилиями множества ученых и философов начиная по меньшей мере с середины XIX века – вот оно его наконец и получило в безраздельное пользование. И что это ему дало? Именно то, что только и может дать тело: новые формы несвободы. Там, где некогда видели ответственность и самодостаточность суверенного субъекта – нынче обнаруживаются сплошные продукты социального (в конечном счете – телесного) конструирования.

Не пора ли уже задуматься о том, чтобы вернуть права – по крайней мере, некоторые! – духу, миф которого (а плодотворный, между прочим, миф! сыгравший превеликую роль в становлении человека!) как-то, похоже, поторопились объявить исчерпанным?

И вообще: не пора бы уже, наконец, отважиться на безусловность и безопорность? Не искать судорожно одних опор взамен других, не преувеличивать захлеб свеженайденное (даже когда свеженайденным оно быть уже давно перестало, но другого пока не находится) – а взять да и отказаться от всяких опор и преувеличений? Шагнуть в пропасть – и все.

## РЕШАЮЩИЙ УДАР<sup>133</sup>

Искусство, если вдуматься – страшная вещь: в нем возможно все. Особенно в литературе. Живописи нужны хотя бы краски, музыке – инструменты (да хорошо бы еще и умение всем этим хоть сколько-то владеть), а литературе вообще никакие средства не нужны: она и так всеильна. Словами – всего лишь словами! – она способна подать как настоящее буквально что угодно. Хоть самое немыслимое. Ужас в том, что для этого и профессионалом быть не обязательно: так называемое наивное письмо – косноязычное, дикорастущее, почти на грани бессловесного – воздействует иной раз куда хлеще любого качественно и грамотно выделанного текста.

Могло ли такое долго оставаться безнаказанным? Конечно, нет. Терпение культуры в конце концов лопнуло. Вначале вырастив в себе литературу и позволив ей – по легкомыслию, должно быть – довольно далеко зайти, она наконец спохватилась – и завела себе для защиты от литературы особую породу людей: литературоведов. Заняты они, как известно, тем, что исследуют отношения между «жизнью» и «литературой». Проводят между ними границы, раскапывают щели. Выявляют степень зависимости «литературы» от «жизни». Делают, наконец, все более несомненным сам факт этой зависимости. Главное – чтобы люди не слишком этой самой литературе верили. Чтобы не слишком поддавались ее влиянию.

Разные эпохи изобретают для этого разные средства. Лет сто назад весьма убедительным выглядело то, что литература зависит от особенностей психики сочинителей<sup>134</sup>. Новые союз-

<sup>133</sup> Опубликовано: НГ - Ex libris. - 20.03.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-03-20/10\\_strike.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-03-20/10_strike.html).

<sup>134</sup> Речь о книге: Ирина Сироткина. Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века / Перевод с английского. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

ники литературоведов, психиатры, охотно раздавали писателям диагнозы из своего запаса. А читатели и радовались: наконец-то все понятно! Гоголь был «типичным неврастеником с ипохондрическими идеями», Толстой с его упрямыми поисками смысла жизни страдал неврозом навязчивых состояний. Об эпилептике Достоевском и говорить нечего.

Одна беда: убедительность любых объяснений со временем слабеет. Ну, перестают быть привлекательными очередные объяснительные средства. Новые пока еще придумают! – а литература тем временем не зевает – подчиняет себе человека, вертит им как ей вздумается.

И вот, наконец, литературоведы нанесли решающий удар.

Они придумали, что есть такая особенная разновидность литературы – «невыдуманная», или «нон-фикшн»<sup>135</sup>. Та, у которой самые непосредственные – а пожалуй, и более адекватные – отношения с «жизнью».

А вся остальная литература, значит – выдуманная.

Казалось бы, таким образом из-под власти литературы над человеком изымается уже всякий фундамент. Но не тут-то было: взявшись исследовать внутренние структуры «нон-фикшн», наука пилит сук, на котором сама же и сидит.

Внутри «невыдуманного» открываются все новые области вымысла. То, что казалось согласием с «жизнью», зависимостью от нее – оборачивается по меньшей мере спором с нею. А то и вовсе отказом с нею считаться. Литература опять своевольничает. Даже «невыдуманная».

Может быть, никакой «жизни» и нет? А то, что есть – одна сплошная литература.

<sup>135</sup> Упомянется в связи с книгой: Елена Местергази. Литература нон-фикшн/non-fiction: Экспериментальная энциклопедия. – М: Совпадение, 2007.

## СТРАДАЙ И СТАНЕШЬ ЛУЧШЕ<sup>136</sup>

Есть понятия, которые не позволяют жизни распасться. Держат на себе все ее многообразие, сообщают ему единство, цельность, а то даже и смысл иной раз. Благодаря уже одному тому, что существуют в ней.

И происходит это, между прочим, совсем не потому, что они, при всех изменениях этой самой жизни, сами остаются в ней неизменными. Как раз наоборот: их изменения просто неизбежны. Всякий, берущийся толковать такие понятия, непременно нагружает их собственными содержаниями. В конце концов дело доходит до того, что понятие превращается в нечто совершенно неузнаваемое.

Так и случилось в европейской истории с понятием катарсиса – очищающего (со)страдания.

К тому времени, как Аристотель нашел «катарсису» знакомое нам место в своей «Политике», а затем в «Поэтике», у того была уже долгая история. Сам термин, пишет в своей книге Анджей Щеклик<sup>137</sup>, приписывают обычно Пифагору, но на самом деле он появился куда раньше – у тех глубоких истоков греческого искусства, в которых оно еще неотделимо и неотлично от религии и магии. Хорея – соединение танца с музыкой, пением и поэзией, – исполняемая во время мистерий и обрядов, «служила для усмирения страстей». Как тогда говорили – для очищения душ. Не метафорического – самого реального: ошеломленная музыкой, душа архаического грека на мгновение освобождалась и покидала тело. Возвращалась к

<sup>136</sup> Опубликовано: НГ - Ex libris. - 03.04.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-04-03/7\\_struggle.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-04-03/7_struggle.html?insidedoc).

<sup>137</sup> Анджей Щеклик. Катарсис. О целебной силе природы и искусства / Предисловие Чеслава Милоша. Перевод с польского Ксени Старосельской. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

своему исходному, подлинному состоянию. Это и был катарсис.

С тех пор катарсис чем только не побывал<sup>138</sup>: и очищением аффектов путем сострадания и страха (с которым его отождествляли в античности), и верным путем к наслаждению (которого ждали от него гуманисты Возрождения), и обузданием пагубных страстей (на которое надеялись современники Корнелия), и основным терапевтическим методом психоаналитиков.

И кто бы мог подумать во времена пифагорейцев, что в результате всех своих превращений понятие спустится и на уровень совсем уж массового сознания? А между тем случилось именно так. Оно прекрасно себя чувствует на уровне повседневных разговоров и не менее повседневных телесериалов – призванных, как известно, подтверждать обыденные представления, а вовсе не революцию в них устраивать. Страдай – станешь лучше. Например, добрее или честнее. Или будешь лучше понимать других. Или раскаешься в своих ошибках.

Щеклик говорит, это Аристотель виноват. Это он, употребив слово «катарсис», указав на чрезвычайную его важность и пообещав впоследствии поговорить о нем подробно – так этого и не сделал. Так и не объяснил, что именно следует понимать под «катарсисом» – открыв тем самым «поле для бесчисленного множества толкований». А тех с веками становилось все больше и больше.

С другой стороны – чем была бы без этих толкований история европейской мысли и европейского чувства?

И вспоминает ли сегодня кто-нибудь, кроме специалистов-историков, что композиция аристотелевской «Поэтики» выстроена не как-нибудь, а в полном соответствии с логикой мифоритуала погребения?

<sup>138</sup> О перечисленном далее говорится в книге: Катарсис: Метаморфозы трагического сознания / Составление и общая редакция В.П. Шестакова. – СПб.: Алетейя, 2007. – (Мир культуры).

## В ДЕЛО ИДЕТ ВСЁ<sup>139</sup>

Биография – своего рода неизбежность. Хочешь или не хочешь, ее приходится из чего-то делать. Да не по собственному выбору, а из того материала, который истории будет угодно тебе предоставить. Мы вынуждены подбирать своим единственным, исчезающе-неповторимым личным смыслам даже не «общезначимую» оболочку, но самый материал для осуществления, плоть, без которой никакой душе не состояться.

История, конечно, иной раз такое подсовывает, чего и врагу не пожелаешь. Такое, что язык не повернется назвать иначе как разрушительным, смертоносным.

А человек живет. И более того, как раз из того, что обрекает его на уничтожение – умудряется извлекать то, что его создает. Живет не вопреки, но – едва ли даже не благодаря этому.

Очень похоже на то, что в этом отношении непригодного материала просто нет.

В дело выращивания личных смыслов идет все: катастрофы, утраты, ужасы, унижения. Бездна и бесперспективность. Рутинность и тупики. Горе и тоска. Пустота и отчаяние.

Бессмыслица – верный путь к смыслу. Может быть, самый сильный стимул к нему.

Русская история XX века приложила, кажется, чуть ли не все мыслимые усилия к тому, чтобы сделать частное человеческое существование невозможным. Она разрушала связи, дезавуировала жизненные проекты, развенчивала ценности, разрушала среду обитания, переворачивала с ног на голову очевидное, обманывала ожидания, упраздняла привычки. Она по-

<sup>139</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 24.04.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-04-24/10\\_delo.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-04-24/10_delo.html).

следовательно выдергивала из-под человека все основы, изымала его из всех защитных оболочек, которыми ему так естественно, так необходимо обрастать – или попросту, не церемонясь, уничтожала его физически.

И тем не менее именно XX век – мы еще будем его вспоминать! представлятся поводы! – дал нам примеры редкостной устойчивости смысла. Упорной, органической воли человека к автономии, достоинству, глубине и силе.

Кто же напишет об этом лучше переживших подобное как личный опыт?

Об упорстве человеческого мы читаем и в тюремных письмах отца и сына Татищевых, и в дневниках Бориса Поплавского, боровшегося с хаосом в самом себе (хаос, он, знаете ли, не только извне нас настигает)<sup>140</sup>. Изнутри своей тюрьмы, своей невозможности – человек пробивается к свободе и смыслу. Об этом же пишет в воспоминаниях о детстве Вадим Баевский<sup>141</sup>.

Лето 1941 года. Через всю страну идет поезд: из Киева - в непредставимо далекую, чужую, но спасительную Среднюю Азию. Тащится медленно, набитый битком, ежедневно и неминуемо рискуя быть уничтоженным немецкими бомбами. Поезд идет над Волгой. И двенадцатилетний мальчик, будущий крупный русский стиховед, на глазах которого в Киеве совсем недавно горели вагоны с живыми людьми, который только что видел, как соседка по купе, одинокая старуха, пытается резать себе вены - вот этот мальчик вдруг застает себя за тем, что в нем, повинувшись стуку колес, сам собой складывается ритм. Он спасен. Он сочиняет стихи.

*«Надо мною небо и небо.*

*Подо мной вода и вода.*

*По мосту над водой то и дело*

<sup>140</sup> Речь идёт о книге: Анатолий Вишневский. Перехваченные письма: Роман-коллаж. – 2-е издание, с изменениями и добавлениями. - М.: ОГИ, 2008.

<sup>141</sup> Вадим Баевский. Роман одной жизни. – СПб.: Нестор-История, 2007.

*Поезда. Поезда. Поезда».*

## ИДЕАЛЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ<sup>142</sup>

Что делает нас – ну, скажем, русскими, москвичами, людьми, родившимися, допустим, в середине шестидесятых, с таким-то детством, образованием, кругом общения, родом занятий?

Нет, не язык. Его можно и забыть как следует, если долго жить в чужой культуре да еще и думать на ее языке. И не ценности с идеалами – они на протяжении одной жизни способны сильно меняться. А вот этот вкус во рту, движение вниз по горлу проглоченного куска.

Как представить раннее детство, поздние шестидесятые – без рогаликов? Они продавались в булочной на Ломоносовском, желтоватые, с блестящей шкуркой. Есть их надо было медленно, разматывая – виток за витком – их сладковатые волоконца. А школьные семидесятые – разве мыслимы без котлет из кулинарии, без кофе со сгущенкой, без яичницы совсем-подряд, которую мы неизменно сооружали по воскресеньям?

Точно так же не вкусом, но настроением, интонацией, почти-смыслом ранних московских девяностых для меня навсегда останется «гуманитарная» (кто-нибудь еще помнит, что это такое?) тушенка с гречкой и турецкий «вениковый» чай, а чуть позже – девяносто третий, девяносто четвертый... – польские ликеры разнообразно-ядовитых цветов в уличных ларьках, китайская лапша в пакетиках – праматерь «Роллтона» (заваривали кипятком, накрывая тарелкой), первая шаурма в давно уже не существующей арабской закусочной при гостинице «Минск». Вкусы поедаемого и разговоры во время,

<sup>142</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 29.05.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-05-29/8\\_ideals.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-05-29/8_ideals.html?insidedoc)

до и после его поедания – а ух, сколько было тогда разговоров! – вспоминаются только вместе. Не разделить.

Как без всего этого будешь русским начала XXI века?

Дело не в качестве еды-питья (лучше не думать, что именно окрашивало ликеры девяностых в столь интригующие цвета), не в «подлинности» ее происхождения. Тут все – настоящее, аутентичное, ничуть не меньше, чем гречневая каша, пельмени или блины со сметаной. Дело – в образовании связей, устойчивых и безусловных. Так и сегодня москвичами 2008 года делают нас – срастаясь в нерасторжимый комплекс – вполне «восточные» по своему происхождению блюда: шаурма из киоска у метро, лепешки из тандыра у того же метро, корейская морковка из ближайшего магазина, суши и сашими из вроде-бы-японского ресторана «Суши весла».

Хот-доги и «одноразовая» лапша, порошковая картошка и соевый соус терпеливо лепят нашу душевную структуру, приучая нас быть людьми своего времени и поколения. Не «считать» себя кем-то, не «относить», не «причислять» – а именно быть: безусловно и целиком. «Считать» себя при этом можно кем угодно: хоть китайцем, хоть марсианином, хоть гражданином мира. Наша истинная, действенная принадлежность у нас на зубах, на языке, в глотке. Она будет щекотать нам ноздри запахом и лежать комом у нас в желудке, не давая ни на минуту забыть, кто мы такие.

...Вернешься домой поздно вечером. Залезешь в холодильник. Отрежешь кусок колбасы. Положишь на кусок черного хлеба, намазанный маслом. Откусишь – и почувствуешь: мир еще стоит. И он к тебе благосклонен.

ЗАПРЕТИТЕ НАМ ЧТО-НИБУДЬ<sup>143</sup>

Попробуйте-ка прийти, скажем, в Большой театр – или хотя бы просто на работу – в старой, растянутой и полинявшей домашней футболке и ветхих вытертых джинсах. Нет, вас не обязательно выгонят. Но общее осуждение и неприязнь вам гарантированы: совершенно независимо от того, как вы будете себя вести (вполне возможно, что – безусловно) и что вы будете при этом говорить (вполне возможно, что – вообще ни слова или исключительно правильные вещи).

Одежда, как мало что другое, претендует на то, чтобы формировать своего носителя, определять его поведение и самочувствие. Сравниться с ней в масштабах и настоятельности таких претензий способен, пожалуй, только язык.

Зря, что-ли, в число самых будоражающих сексуальных фетишей для добропорядочных японцев попало не что-нибудь, а смиренная школьная форма? Форма как таковая. При виде воплощения правильности и послушания ничего так не хочется, как грешить и кощунствовать.

«Иногда, – пишет австралийская исследовательница Дженнифер Крейк<sup>144</sup>, – определить, кто кого носит – люди форму или форма людей, – невозможно.» Но это ведь – и об одежде вообще. Нет, шире: о правилах и нормах.

Правила и нормы неотделимы от соблазнов (даже – императивов) их нарушения. Без простого присутствия в культуре правил, запретов и норм как точек отсчета всякое сладостно-освобождающее «нет!» теряет не просто смысл, а самое себя.

<sup>143</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. – 26.06.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-06-26/9\\_taboo.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-06-26/9_taboo.html)

<sup>144</sup> Речь о книге: Дженнифер Крейк. Краткая история униформы / Пер. с англ. Иосифа Красильщика. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.

У него попросту не оказывается достаточных стимулов к тому, чтобы возникнуть.

Главное, чтобы было против чего бунтовать.

Нормы и правила, а пуще того – запреты и ограничения – это такое большое, настойчивое «да», которое заведено не только для придания нашей жизни некоторой, хоть скольконибудь надежной формы. Заведено еще оно и для того, чтобы стимулировать, провоцировать, вынуждать – в качестве ответов на него – всяческие «нет», «но», «зато», «не знаю», «может быть», «не уверен»... Правила – узкие области уверенности, придуманные, чтобы обозначить – насколько это вообще возможно – зоны неуверенности, ненадежности. Неуверенность ведь голыми руками не возьмешь – ускользает. Вот и приходится идти от противного.

Нарушая правила и преступая запреты, человек узнает о самом себе – ну и о мире заодно – нечто важное. Такое, чего он ни за что бы не узнал, не случись рядом границы, четко проведенной запретом. Но есть у этого и обратная сторона: как только преступание границ перестает быть событием и само становится рутинной – все, оно уже не работает. Нужны новые границы – и новые запреты.

Лучший способ заставить человека исследовать мир, вообще – выходить за пределы освоенного, привычного и рутинного – это запретить ему что бы то ни было. Хоть надевать красный галстук одновременно с зелеными ботинками. Хоть приходиться в смокинге туда, куда все приличные люди ходят в дражных джинсах.

Можно, например, запретить что бы то ни было запрещать, предписать ничего не предписывать. Тоже интересно.

Главное – запретите нам что-нибудь. А уж мы развернемся!

## ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ<sup>145</sup>

Современный человек, оказывается, имеет навязчивую склонность во всем видеть насилие. Даже не обязательно как власть других (Другого) над ним (или, что более утешительно, его самого – над другими), хотя это тоже – любимая и хорошо освоенная тема интеллектуалов по меньшей мере с 1960-х годов. Нет, прежде всего – как угрозу, разрушение и боль. Как постоянную возможность гибели.

Насилие обнаруживается буквально на каждом шагу. Ладно бы еще, если только в отведенных ему культурой резервациях, вроде боевиков или фильмов ужасов – они, в конце концов, для того и придуманы. Нет, оно теперь проникает и туда, где его прежде вроде бы сроду не видывали: в отношениях между влюбленными, в женственности и материнстве, в эстетических идеалах, в алфавитном и иероглифическом письме. То есть, вполне возможно, что во всем этом оно было и раньше. Однако неспроста только теперь – увидели.

«Даже звук капель дождя за окном, например, – пишет в сборнике о визуальном (как) насилии<sup>146</sup> Петр Дениско, – скрип двери или доносящийся звон посуды на кухне могут болезненно пронзать и восприниматься как насильственные». Правда, он имеет в виду ситуацию, «когда от боли у вас просто раскалывается голова». Так вот: у нынешнего человека она, похоже, раскалывается.

Человек чувствует себя нынче принципиально уязвимым. Это определяет очень многое – включая и темы, на которые он предпочитает думать. И не просто как частное лицо, но и

<sup>145</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 10.07.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-07-10/5\\_head.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-07-10/5_head.html?insidedoc).

<sup>146</sup> Речь идёт о книге: Визуальное (как) насилие. Сборник научных трудов / Отв. ред. А.Р. Усманова. – Вильнюс: ЕГУ, 2007.

профессионально, выстраивая теории – то есть, размышлять в масштабах всей культуры. Насилие сегодня – один из типовых объектов философского анализа. Это даже не мода уже, а классика.

В свете этого показательна теоретическая судьба визуального – всего, что воспринимается зрением. Оно, прежде особо не выделявшееся, в XX веке составило отдельную тему теоретических рефлексий – и продолжает развиваться в этом качестве. Более того, не так давно стала актуальной тема «насилия в визуальных репрезентациях». Прежде всего, как пишет редактор того же сборника Альмира Усманова, потому, «что опыт визуальной культуры (от авангардистского искусства до телевизионного репортажа) радикально отличается от опыта предшествующих эпох». Медиализация и зрелищность нынче – «его первостепенные характеристики». Еще бы: разве сравнишь сцену публичной казни XVII века со зрелищем террористического акта начала века XXI-го – по «целям, масштабам, воздействию и размерам аудитории»?

А ведь визуальное способно преподать нам и совсем другие уроки.

Вот, например, слово относительно недавно – в том же XX веке – догадалось, что оно, аналитичное, расчленяющее, выводящее все неявное на критичный свет сознания (тоже, согласитесь, своего рода насилие), – в глубоком родстве со зрительным образом. Они ведут себя – и чувствуют мир – оказывается, очень похоже.

Уж не визуальному ли дано срастить разные части распавшегося современного человека в новую цельность? Склеить, наконец, его раскалывающуюся голову?

## БУНТАРИ ПОНЕВОЛЕ<sup>147</sup>

Казалось бы, перед нами – книги<sup>148</sup> двух вольнодумцев, нарушителей правил. Людей, интересных как раз своим принципиальным несогласием вписываться в рамки, прочерченные для них другими – кем бы эти «другие» ни оказывались: власть, официальная наука, общественное мнение... Люди, живущие наперекор – и расширяющие тем самым пределы отпущенной человеку свободы.

Оба – путешественники по неизведанному, в некоторой мере даже запретному. Сексолог Игорь Кон – по мало осмысленным, по крайней мере в нашем отечестве, сторонам человеческой природы, диссидент Владимир Буковский – по другим странам, представленным в русских головах, а в его время – особенно, – по преимуществу в виде образов весьма фантастических. Области, по сути дела, родственные: советскому человеку в равной мере было заказано чересчур интересоваться как сексуальной жизнью, так и миром по ту сторону западной границы. И в том, и в другом охранителям советской нравственности виделся нездоровый, разрушительный соблазн; тем сильнее и то, и другое будоражило воображение, домысливалось и нагружалось самыми неожиданными и явно избыточными значениями. Оба наших автора-героя были озабочены в первую очередь тем, чтобы дать своим современникам ясное, здоровое – а тем самым и освобождающее – представление об этих областях жизни.

Так-то оно так. Но, вчитавшись, мы обнаружим, что этих разведчиков запретного объединяет и кое-что другое. В своем роде, может быть, даже более глубокое.

<sup>147</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 31.07.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-07-31/5\\_rebels.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-07-31/5_rebels.html?insidedoc)

А именно то, что, сложились обстоятельства иначе – родился каждый из них, грубо говоря, в другой стране или в другое время – ни одному из них, скорее всего, не пришло бы в голову заняться тем, чем он стал наиболее известен, от чего теперь его имя, кажется, просто неотделимо.

Игорь Кон, скорее всего, стал бы историком, – на которого, собственно, и учился, – исследовал бы далекие эпохи, прослеживал бы историю смыслов (это у него, между прочим, прекрасно получается). Владимир Буковский – по образованию, кстати, биолог – занимался бы своей нейрофизиологией или каким-нибудь неспешным ремеслом, как ему тоже мечталось.

На самом деле, перед нами любопытный феномен бунтарей поневоле.

Активное инакомыслие оказалась им обоим в своем роде навязано. В воздухе, которым оба дышали, не оказалось необходимого. Это необходимое можно назвать ясностью понимания вещей. Можно – здравым смыслом. А можно – и свободой.

Кто из них оказался в результате более свободен? Кон, который никогда по доброй воле не ссорился с властями и прилежно ссылался на материалы всех съездов КПСС, пока это требовалось для того, чтобы книги выходили (и издал их много-много), – или Буковский, ввязавшийся в открытый и принципиальный конфликт с системой – и оказавшийся, к собственному изумлению, втянут в ее игру, которую она вела по своим правилам со своими зарубежными партнерами-соперниками, а потом признававшийся, что на Западе ему – да, легче, интереснее, но уж никак не свободнее? Как знать?

<sup>148</sup> Речь идет о книгах: Игорь Кон. 80 лет одиночества. – М.: Время, 2008, и: Владимир Буковский. Письма русского путешественника. – СПб.: Нестор-История, 2008.

## ПОБЕДА НАД ПРОШЛЫМ<sup>149</sup>

Память – одно из основных открытий нашего времени и, пожалуй, один из предметов самого напряженного, самого пристального интереса исследователей. Историки и антропологи, искусствоведы и прочие культурологи за последние десятилетия об этом очень много понаписали. Так много, что впору подумать: ой, неспроста все это.

Древние ведь память очень почитали. Во всех традиционных культурах она была ведущим культурным инструментом. Всякое обучение начиналось с запоминания авторитетных текстов, а часто им и ограничивалось.

Где-то в начале XX века интеллектуалы – люди, как известно, очень чуткие, даже когда много чего придумывают (да и придумывают-то, собственно, именно поэтому) – так вот, интеллектуалы стали замечать, что с памятью что-то не так. С той самой памятью, которая лежит в основе культуры и вроде бы – одна на всех. Нет, то, что человек помнит совсем не то, что было «на самом деле», известно давным-давно и в общем-то даже никого не удивляет. Но то, что нас подводит, – или уводит в какие-то совсем неожиданные стороны – общая, вроде бы проверенная и надежная память – вот это было открытие. Я бы даже сказала, культурный шок.

Причем настолько большой, что шоком это, кажется, так никто прямо и не назвал. Напротив, все приняло вид академичных исследований, целью которых было выяснить: а как вообще устроена культурная память? Как, скажем, отзывается в кинематографе – память о живописи и фотографии? Как хранит прошлое архитектура? Как в лексике, грамматике,

<sup>149</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 21.08.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-08-21/5\\_pobeda.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-08-21/5_pobeda.html?insidedoc).

синтаксисе языков, в бытовых привычках, в стереотипах мышления отзываются пережитые народом события и влияния? От чего, наконец, зависит, что и как будет сохранено, а что – забыто?

Искусствоведы заинтересовались этим первыми. Представители Венской школы искусствознания в начале прошлого века заговорили о том, что память коренным образом связана с художественным мышлением и восприятием. Они впервые описали художественные стили как коды, удобные для запоминания.

С тех пор память – законсервированное, влиятельное прошлое – успели обнаружить в самых разных областях жизни. В телесных навыках, в идеологиях, в повседневных практиках и поведенческих стратегиях. А уж о литературе и прочем творчестве и говорить нечего. Весь постмодернизм на этом стоял (или до сих пор еще стоит?).

Так вот, кажется, интерес к памяти в сегодняшней культуре – это, прежде всего, интерес к возможностям забвения.

Это – прямое следствие европейского историзма: последовательного открытия исторической обусловленности и изменчивости чего бы то ни было.

В результате прошлого стало так много, что пришла пора думать о том, как от него, неустранимого, освободиться.

И тут помогло забвение – обратная, нет, даже лицевая сторона неминусовой избирательности памяти.

Забвение оставляет в памяти пустоты: мы можем в них жить, не завися от прошлого. Там оно не диктует нам каждый шаг. Там мы можем меняться и создавать новое.

Забвение – это победа над прошлым.

## АНТРОПОЛОГИЯ КАТАСТРОФЫ<sup>150</sup>

Когда-нибудь (по-моему, давно пора) эмиграция как особый феномен культур, задетых XX веком, удостоится отдельного анализа. Нет, вообще-то она описана уже весьма неплохо: историками – на уровне фактов, писателями – на уровне чувств и личных смыслов. Но, видимо, у нас еще впереди осмысление более глубокое. Я бы сказала – антропологическое.

По крайней мере, в переизданной недавно большой двухтомной энциклопедии «Культурология», выросшей со времен последнего издания раза, наверное, в три и вобравшей в себя много разного, статьи «Эмиграция» нет, и ее, по моему разумению, очень не хватает. Без этого наше понимание культурных процессов минувшего столетия обречено оставаться принципиально неполным.

Эмиграция таких масштабов, какой была, в частности, русская после революции 1917 года, когда от исчезнувшего мира отламывались целые пласты, – не могла пройти бесследно для самого устройства человеческой сущности. Причем это касается в равной степени и тех, кто покинул родину, и тех, чья страна вдруг наполнилась неведомыми пришельцами.

Само по себе присутствие в культуре некоторой страны большого количества выходцев из другой – что-то делает не только с пришельцами, но и со страной пребывания<sup>151</sup>. Будь то европейское Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, населенное родственными пришельцам славянами, или совсем чужой им Тунис – североафриканский протекторат Франции

<sup>150</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. - 18.09.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-09-18/8\\_anthropology.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-09-18/8_anthropology.html?insidedoc)

<sup>151</sup> Далее идёт речь о книгах: Виктор Косик. Что мне до вас, мостовые Белграда? Русская диаспора в Белграде. 1920-1950-е годы: Эссе. – М.: Институт славяноведения РАН, 2007, и: Марина Панова. Русские в Тунисе: судьба эмиграции «первой волны». – М.: РГГУ, 2008.

со сложнейшей, разнороднейшей культурной памятью, вместившей в себя и финикийцев, и римлян с византийцами, и турок с арабами, – для любой страны вторжение чужого в таких масштабах не может не стать тоже своего рода катастрофой, переворотом – пусть меньшим, чем для изгнанников – в основах существования. И ни одна культура после такого потрясения не остается прежней.

Всякий раз образовывалась (и неизменно – болезненно, особенно в начале) культура в культуре. Шло нащупывание принципов жизни заново – практически вслепую: ситуация была – по крайней мере для тех, кто в нее попал – беспрецедентная. Важно было собрать из обломков обжитого и привычного – нечто устойчивое, надежное, похожее на дом – чтобы хватило надолго... как однажды оказалось, навсегда: на определенном этапе надежды на возвращение в Россию для многих рухнули. И это было ничуть не меньшей бедой, чем катастрофа Исхода.

Да, беда оказалась чрезвычайно плодотворной. Если бы не вынужденные скитания и утраты, русский тунисец Нестор Монастырев никогда не написал бы своих книг по истории отечественного флота; художник Александр Рубцов, которому война еще в 1914 году отрезала возможность возвращения на родину – не создал бы своих картин, полных тунисским – ни на что, по его чувству, не похожим – воздухом и светом. Я уж не говорю о без того известных фигурах масштаба Набокова, Гайто Газданова или, скажем, о. Александра Шмемана, которые без Катастрофы наверняка были бы совсем другими.

И все-таки – пусть с нами ничего подобного никогда не случится.

## КОЕ-ЧТО О НЕСРАВНИМОМ<sup>152</sup>

Нет, я понимаю, что живущий несравним. Что сравнивать двух почти произвольно взятых людей из двух довольно разных областей нашего культурного ареала всего лишь потому, что их книги были куплены одновременно и прочитаны подряд – дело по меньшей мере рискованное. И все-таки упорно кажется, что воспоминания румынско-французско-американского историка религий и писателя Мирчи Элиаде<sup>153</sup> и метафизическая культурология российского историка, философа и поэта Евгения Рашковского<sup>154</sup> оказались рядом на одном столе не совсем случайно. Во всяком случае, эта случайность, как едва ли не всякая другая, способна навести внимание на некоторые глубокие закономерности.

Я не имею сейчас в виду культурную значимость каждого из мыслителей, не говорю о масштабе и новизне их вклада в науку. Я всего лишь о позиции, занятой каждым из них.

Речь идет, по сути, о двух разных выводах из одной и той же, вроде бы, системы ценностей и представлений. Из одних и тех же основополагающих священных текстов, наконец.

С одной стороны – диалогичное христианство Рашковского с ведущими ценностями «любви, заботы, познания, “доброй работы”, раскаяния, страдания и сострадания», со смиренным вниманием к трагическому, но и плодотворному несовпадению «индивидуальных и групповых человеческих смыслов», настроенное слушать, понимать, «признавать» (любимое сло-

<sup>152</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. – 23.10.08. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-10-23/6\\_balla.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/koncep/2008-10-23/6_balla.html?insidedoc).

<sup>153</sup> Мирча Элиаде. Посулы равенства. Мемуары. Т. I. (1907-1937); Жатва солнцеворота. Мемуары. Т. II. (1937-1960). / Перевод с румынского А. Старостиной. – М.: Критерион, 2008.

<sup>154</sup> Евгений Рашковский. Смыслы в истории: Исследования по истории веры, познания, культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2008.

во Рашковского) Другого в его инаковости. С другой – монологичное, надменное, если не сказать – агрессивное «космическое христианство» Элиаде с его культом румынской самобытности, мужественности и своеобразно понятой жертвенности, вполне допускающей, как показали некоторые исторические события, физическое уничтожение тех, кто не вписывается в единственно правильные ценности. И еще – с неизменным чувством собственной правоты.

Ведь румынские легионеры, зверства которых впечатляли даже их германских коллег и которым искренне симпатизировал и всячески содействовал Элиаде, очень почитали христианскую традицию. Буквально: они были религиозными традиционалистами, их лидер Корнелиу Кодряну главной целью своего движения считал не что-нибудь, а «примирение румынского народа с Богом» (очищение отечества от евреев было неотъемлемой и насущной частью этой достойной программы). А что в этом крестьянском православии было презрительно язычества, так это, считал Элиаде, только к лучшему: ближе к Традиции, к подлинности, к почве. Он и сам с гордостью говаривал, что его вера – это вера румынского крестьянина. С которым, к слову сказать, у него было что-то не очень много общего в образе жизни.

Что же получается – одно и то же христианство равным образом делает возможными и Франциска Ассизского с Серафимом Саровским, и соратников Кодряну? Оно в равной степени дает основания для этого?

Может быть, дело даже не в ценностях как таковых. И не в традициях. Ценности могут быть самые замечательные – но дело всякий раз оказывается в людях, которые их выбирают.

## ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ<sup>155</sup>

Древние греки совершенно неспроста отводили вину такую большую и важную роль в своей жизни. Как и наши с вами соотечественники, со всеми теми байками, мифами и горькими истинами о русско-советском пьянстве, которых все мы изрядно наслушались и которые не перестанем слышать, пока свет стоит.

И это только кажется, что отношения с алкоголем у благородных эллинов и у завсегдатаев пивной за углом – принципиально разные вещи. Что у первых, дескать, эстетика, культура и вообще дионисийская метафизика, а у вторых дикость, грязь и деградация, и говорить тут не о чем. А вот очень даже есть о чем.

И те и другие имеют дело с опасностью. Испытывают пределы человеческого. Причем и те, и другие прекрасно это знают.

Выпивка – всегда пограничная ситуация, независимо от того, пьется ли в изящной обстановке греческого симпозиа с остроумными шутками и изощренными играми правильно разбавленное вино – или в подворотне из горла дрянная сивуха. Ну разве что в первом случае человек несколько маскирует опасность – делая ее тем самым более напряженной и волнующей. Во втором случае он смотрит ей прямо в лицо и называет ее прямыми, грубыми, но честными именами. И таким образом хоть немного да притупляет ее воздействие.

Человек обеднел бы без алкоголя, опустел бы, оскудел. В том числе и без разрушительного, даже смертоносного его действия. А я бы сказала, без этого – даже и в особенности.

<sup>155</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris. – 20.11.2008. = [http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-11-20/6\\_dialogue.html](http://exlibris.ng.ru/koncept/2008-11-20/6_dialogue.html).

Правила питья и его «культура» (о, сколько упреков выслушали русские всех поколений в том, что пить они «не умеют»!) – вещь, конечно, куда как важная. Они затем и важны, чтобы их можно было нарушать. Чтобы их нарушение действительно переживалось как катастрофа.

Красота с культурой – они только глаза отводят.

С алкоголем человек может устраивать себе катастрофу хоть каждый день. И менее катастрофичной она от этого, уверяю вас, не станет. Даже если превратится в рутину. Более того, настоящая катастрофичность как раз тогда и начнется.

Разрушая человека, подвергая его опасностям, делая его смешным, нелепым, противным (в том числе и самому себе), глупым – алкоголь его создает. Это жестокая школа. И акцент тут – на слове «школа», а не там, где вы подумали.

Алкоголь показывает человеку его, человека, силу и бессилие. Ему, зашоренному своей культурой и цивилизацией, алкоголь дает прочувствовать всю зыбкость его защищенности нормами и правилами.

Это хорошо понимал Веничка Ерофеев, великий специалист по позднесоветским отношениям с алкоголем. Затем и пьется всякая разность и мерзость, от розового крепкого до какой-нибудь «слезы комсомолки», чтобы все наконец начало происходить «медленно и неправильно». «Чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек постоянно был грустен и растерян».

Алкоголь – всегда диалог со смертью. Вот это и есть самое главное.

А какие выводы делать из этого диалога? Это уж каждый вправе решать сам. Или не решать. Алкоголь – не диктатор. Да, он морочит человеку голову – но он оставляет человека свободным.

## НЕВЕДОМАЯ СТРАНА И ЕЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ<sup>156</sup>

Стоит эпохе уйти в прошлое – как тут же, вслед утраченному, разыгрывается историческое воображение. Ее, недоступную, начинают реконструировать по косточкам. Она предстает как нечто невиданное, едва ли не чужое и заново подлежащее освоению. В известном смысле – завоеванию.

СССР сегодня всплывает из пучин забвения, как прямо какая-то Атлантида. Нам, жившим в этом времени и в самой, пожалуй, своей основе состоящим из его материи, теоретики-профессионалы объясняют, как на самом деле была устроена там жизнь, какова была связь вещей и смыслов. Та самая, боже мой, связь, которая еще помнится кожей, ноздрями, кончиками пальцев.

«Есть три эпохи у воспоминаний», предупреждала нас мудрая Анна Андреевна. Возможно, их даже больше. В нашем отношении с советским опытом уже обозначили себя, по крайней мере, вот какие.

Прежде всего, это – следовавшее сразу за перестроечным, не лишенным навязчивости, интересом к тому, «как это было на самом деле» и отчасти совпавшее с ним – стремление освободиться от советского опыта. Своеобразная память-забвение.

Примерно в начале двухтысячных наши современники бросились еще раз открывать «советское» – уже с другими интонациями: ностальгическими. Все ушедшее – коммунальные квартиры, портреты товарища Сталина (а что, в конкурсе «Имя Россия» дикую прорву голосов набрал и попал, сказывают, на третье место), дизайн трусов и маек – начинает ка-

<sup>156</sup> Не опубликовано.

заться исполненным драгоценного смысла. А главное, с изумлением открывается – и тоже оказывается своего рода культурным шоком – сам факт того, что все это хочется прожить заново.

Тему быстренько поставили на надежную коммерческую основу, она успела насоздать себе изрядное количество воплощений вроде фильмов «Утомленные солнцем» и «Водитель для Веры», «Исчезнувшая империя» и «Стиляги». Разрыва – будто и не было.

И вот вам третья эпоха: от этого трогательного единения с советским опытом впору уже заново дистанцироваться. Посмотреть действительно со стороны. Потому что ностальгия – это еще изнутри. И «экзотизация» советского – вот, мол, как странно люди жили! – на самом деле тоже еще изнутри. Она – желание убедить себя, что мы надежно от этого освободились.

Видимо, советская жизнь – сама по себе такая тема, которая сейчас – в текущую «эпоху воспоминаний» – просто провоцирует на ту или иную степень идеологичности. Пусть даже неявной. О ней все еще невозможно говорить беспристрастно – и, видно, не будет возможным до тех пор, пока живы представители поколений, для которых советское относится к области значимых личных воспоминаний.

И все-таки отношения с советским, кажется, вступают теперь в новую стадию. Пора преодолеть и раздраженно-ироническое отталкивание от него, и соблазны его идеализации – как искренние, так и те, что стали устойчивой частью официального дискурса.

Пора увидеть его не как причудливое исключение из миропорядка, а как частный случай удела человеческого.

## ДВОЯКОДЫШАЩИЕ<sup>157</sup>

Настоящее детство и то, что потом помнят, реконструируют и исследуют взрослые – принципиально разные вещи. Странно, что они вообще знают друг о друге.

Детство – неизвестная, таинственная область, которую покинувший ее взрослый открывает потом всю жизнь – если, конечно, вообще задается такой целью. А задается, согласитесь, редко: все-таки исследования детства – психологические ли, культурные ли – задача очень частная, они занимают в культуре совсем немного места. У взрослых много других забот.

Так и получается, что взрослые о детстве ничего не знают.

Да на самом деле и не должны. Ну что, что бы они стали делать с этим знанием?

Детство у взрослых – специально для того, чтобы его домысливать. Шлифовать его домысливаниями, как зеркало, и всматриваться в него, и видеть там – что? Да что же еще можно увидеть в зеркале: себя самих. Истоки, например, собственных смыслов, комплексов, притяжений, страхов. Отражения Большой Культуры с ее условностями в маленьком – якобы – детском мире: в его играх, игрушках, словечках, условностях... Там – убеждают себя взрослые – все в общем-то как у больших, разве что маленькое и не слишком, по большому счету, серьезное. Так взрослые проясняют и оправдывают собственный мир. «Детство» – один из его языков.

Да ведь и детская литература – ее же всю написали взрослые. Чтобы объяснить детям (главное – себе), каким детство должно быть. Как его нужно проживать. Что о нем следует вспоминать – а что, напротив того, надо как следует забыть в

<sup>157</sup> Опубликовано: НГ–Ex libris. - 05.02.2009. = [http://exlibris.ng.ru/koncep/2009-02-05/6\\_atlantida.html](http://exlibris.ng.ru/koncep/2009-02-05/6_atlantida.html)

виду того, что оно не укладывается в доминирующий культурный дискурс.

А детство, затонувшая Атлантида, уходит от исследующего взгляда.

Оно там, под водой времени и забвения – живое и страшное. Темная, неприручаемая область, которую взрослый если бы вспомнил по-настоящему, всеми чувствами – ужаснулся бы.

Ребенок двулик. Он – двоякодышащее, обитатель двух миров: чем старше, тем больше, пока не переселяется целиком (так, по крайней мере, кажется) на сушу взрослой жизни, – на маленький островок, воображающий себя бесконечным и вечным континентом. Растущий повернут к этому миру лишь одним из своих лиц, о котором сам потом будет искренне думать, что оно – единственное. Другое, подлинное его лицо обращено к области тайных сил, где вещи и люди превращаются в друг друга, где они легко уходят в Первородную Тьму и так же легко – ну разве чуть-чуть труднее – из нее возвращаются. Где может быть все, абсолютно все, что угодно. А уж то, что не угодно – в особенности. Где все может оказаться опасным. Где сама Жизнь – один из обликов Смерти.

Никогда человек не бывает так серьезен, как в детстве – особенно в самом раннем, до слова. Никогда потом – может быть, разве что в самой глубокой старости – он не бывает так близок к корням бытия. В этом невозможно жить долго, от этого – чтобы быть самим собой – надо уходить, защищаться. Взрослея, человек поступает именно так.

Все тщательно выстроенные отношения взрослых с детством – это культура освобождения и забвения.

НИКТО НИКОГДА НЕ УМРЕТ<sup>158</sup>

На поверхностный взгляд между книгой двух сорокалетних, не первый год живущих вне России русских писателей о звуках, вещах и людях их юности и сборником исследований о разнообразии форм и толкований дружбы – ничего общего. Но честное слово, недаром преследует меня чувство, что книги никогда не прочитываются подряд просто так, ни с того ни с сего. Они непременно укладываются в общую смысловую линию. И даже если не укладываются – они ее обязательно создадут. Проверено.

Вот и теперь оказалось, что на самом деле здесь идет речь об одном – о присвоении мира: о превращении его из чужого и безразличного – в единственный и свой. Даже не об освоении его (на освоение присвоенного может, пожалуй что, и вся жизнь уйти – да так вполне и не освоишь), а просто о делании предметом собственного внимания и собственной заботы того, что доселе таковым не было. Всякого: и – в первую очередь – ближайшего, и такого дальнего, до которого и не дотянешься. О тех, словом, путях, которыми некогда чуждые друг другу люди и вещи срастаются в уже не разъемлемые отныне цельности.

Звуки и обстоятельства, песни и слова, люди и предметы, будучи раз втянуты в наше биографическое поле – становятся нами. Каждая вещь говорит о нас своим языком. С каждой возникают единственно-личные отношения – даже если их предстоит осознать лет двадцать спустя.

Так же – и с друзьями: человек, не имевший к нам никакого отношения, однажды становится частью нас самих – и остается ею, даже если мы с ним поссоримся. И даже если мы его больше никогда не увидим.

<sup>158</sup> Опубликовано: НГ-Ex Libris (Книжное приложение к Независимой Газете). – 25.06.09. = [http://exlibris.ng.ru/non-fiction/2009-06-25/7\\_balla.html?insidedoc](http://exlibris.ng.ru/non-fiction/2009-06-25/7_balla.html?insidedoc)

В ученом тексте, далеко от всяких личных обертонов, вдруг натыкаешься на эдакое: «Можно предположить, что существует даже особая форма дружбы – дружба с вещами...»<sup>159</sup> Я бы добавила – и сообщничество с ними, и заговор. И ревность. И любовь. И надежды. И обиды. Да – всё.

Разве не об этом – у соавторов «Беспомощного»<sup>160</sup>, там, например, где они с почти болезненной въедливостью описывают отношения с дисками своей юности? – как изобретали им имена, как выстраивали ритуалы в отношении с ними и проводили границы, чтобы чужие не сунулись...

«Их всегда несколько, поэтому единственное число употреблялось реже: *диск* (очень нейтрально, в разговоре с непосвященным), *диск* (то, что надо; ударение опять на последний слог), выпестованный *дисочек*...»

В музыке ли дело? – хотя всё, казалось бы, только ради нее и делалось. Скорее уж – в заговаривании мира, в приручении его, в назывании его вещей непонятными для профанов именами, в наделении их собственными значениями. В создании пространства, где ты принят и защищен. В спасении его и себя, в конечном счете – от исчезновения, от смерти, которая – одно сплошное безразличие.

«...поддавший Карась распевает «Созрели вишни в саду у Махавишны» и «Назаретом меня не буди!»; а «Назарет» свой ты *сдашь*, *возьмешь Шоколадку*, а на сдачу – тринадцатого портвешку и на травке сладко заспиришь с *корешками*, играл Фрипп на «Лоджере» или нет...

И, как сказал глуховатый стилист, никто никогда не умрет».

<sup>159</sup> Цитата из книги: Дружба: Очерки по теории практик. Сборник статей/ Научный редактор О.В. Хархордин. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. – (Прагматический поворот; Вып. 3).

<sup>160</sup> Речь о книге: Андрей Лебедев, Кирилл Кобрин. Беспомощный: Книга об одной песне. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Другие публикации автора

Примечания к ненаписанному, том I

Примечания к ненаписанному, том II



Другие авторы издательства

АБРАМОВ, БАВИЛЬСКИЙ, БАЛЛА, БАТШЕВ, БЕЛКА БРАУН, БОВ (БО-  
БОВНИКОФФ), БОКОВ, ВОЛЫНСКИЙ, ГАНОПОЛЬСКАЯ, ГЕОРГИЕВ-  
СКАЯ, ГУДАВА, ДАНИЛОВ, ДРАГОМОЩЕНКО, ЗАГРЕБА, ИВАНЧЕНКО,  
ИОХВИДОВИЧ, ИЛИЧЕВСКИЙ, КОНДРОТАС, КОРТИ, КУЗЬМЕНКОВ,  
КУРЧАТКИН, МАРТЫНОВ, МЕКЛИНА, МИЛЬШТЕЙН, НАЗАРОВ, ОГАР-  
КОВА, ПЫРЕГОВ, РАЗУМОВСКИЙ, САНДЛЕР, СЕЛИН, СЛЕПУХИН, УСЫ-  
СКИН, ФОХТ, ЧАНЦЕВ, ЭПШТЕЙН,  
ЭРБАР, ЮРЬЕВ, ЮРЬЕНЕН...

Адрес книжной витрины:

<http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=1769088>



Издательский совет

Дмитрий Бавильский (Россия)

Николай Боков (Франция)

Александр Кабаков (Россия)

Марина Ками (США)

Марио Корти (Италия)

Элен Менегальдо (Франция)

Андрей Назаров (Дания)

Михаил Эпштейн (США)

Сергей Юрьенен (США)





***Franc-Tireur***  
USA